

Софья и Наталья Самуиловы

ОТЦОВСКИЙ КРЕСТ

Жизнь священника и его семьи
в воспоминаниях дочерей. 1908–1931



Духовная проза (Никея)

Софья Самуилова

**Отцовский крест. Жизнь
священника и его семьи в
воспоминаниях дочерей. 1908–1931**

«Никея»

1996

Самуилова С. С.

Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931 / С. С. Самуилова — «Никея», 1996 — (Духовная проза (Никея))

В воспоминаниях сестер Софьи и Натальи Самуиловых о дореволюционном детстве, о любимом отце – провинциальном священнике Сергии, впоследствии погибшем в заключении, звучит живой отголосок ушедшей эпохи. Судьба семьи Самуиловых неразрывно переплелась с трагической судьбой страны в XX веке. Переноса читателя в российскую глубинку 1910–1930-х годов, авторы раскрывают перед ним глубины человеческих сердец, в страшные годы гонений на Церковь не утративших веру, жертвенность и любовь.

© Самуилова С. С., 1996

© Никея, 1996

Содержание

От издательства	6
От автора	7
Книга первая	9
1908–1914	9
Глава 1	9
Глава 2	12
Глава 3	15
Глава 4	16
Глава 5	20
Глава 6	22
Глава 7	26
Глава 8	31
Глава 9	36
Глава 10	38
Глава 11	41
Глава 12	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Самуиловы Софья Сергеевна и Наталья Сергеевна

Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931

*Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
13-317-2340*

Дорогой читатель!

Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы приобрели легальную копию электронной книги издательства «Никея». Если же по каким-либо причинам у Вас оказалась пиратская копия книги, то убедительно просим Вас приобрести легальную. Как это сделать – узнайте на нашем сайте www.nikeabooks.ru

Если в электронной книге Вы заметили какие-либо неточности, нечитаемые шрифты и иные серьезные ошибки – пожалуйста, напишите нам на info@nikeabooks.ru

Спасибо!

От издательства

В удивительных воспоминаниях сестер Софьи и Натальи читателю раскрывается радостный и одновременно крестный путь их отца, Сергия Самуилова, провинциального батюшки, служение которого пришлось на первую треть XX столетия. Однако повествование, несомненно, гораздо шире биографии одного человека и даже истории одной семьи, ведь судьбы отца Сергия и его близких неразрывно переплелись с судьбой Русской Церкви, да и России в целом.

Непростой оказалась и история самой книги. Судя по некоторым авторским замечаниям, текст написан в 1950–1960-е годы, а предварительные записи велись и ранее. Об официальной публикации этого сочинения в Советском Союзе не могло быть и речи, и оно распространялось в самиздатовских копиях. Машинописный экземпляр первой части произведения в начале 1990-х передала петербургскому издательству «Сатись» Ольга Николаевна Вышеславецца, в тайном постриге – инокиня Мария. Вторая часть обнаружилась в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии, и в 1996 году издательство «Сатись» выпустило двухтомник «Отцовский крест». Позже была найдена и опубликована третья, незавершенная часть сочинения, посвященная судьбе отца Константина, брата Софьи и Натальи, который стал священником в разгар антирелигиозных гонений.

Предлагаемая читателю книга включает две первые части воспоминаний. Их объединяет одна тема – судьба отца Сергия Самуилова, искреннего и бескорыстного священнослужителя, оказавшегося в эпицентре разрушения вековых традиций. Причем это не сторонний взгляд, а свидетельство детей о любимом папе – детей, взросление которых выпало на один из самых драматических периодов нашей истории; более того, это взгляд дочерей, отношение которых к отцам, как известно, наполнено особой нежностью. Большим достоинством воспоминаний является вовлеченность сестер Самуиловых в активную церковную жизнь эпохи гонений, что делает книгу ценным источником по истории Русской Церкви. Насыщенный историческими подробностями текст при подготовке к изданию был обогащен обширными примечаниями. В то же время воспоминания эти являются памятником литературным, это проникновенная автобиографическая проза, замечательный пример русского подпольного литературного творчества середины XX века, поэтому мы без сомнения поместили «Отцовский крест» в серию «Духовная проза», где печатаются лучшие художественные произведения православных авторов.

Мы уверены – книга найдет отклик в сердце любого читателя, ведь нет, наверное, человека, безразличного к искреннему разговору о счастье, страдании, вере, самопожертвовании и любви.

От автора

...Необходимо сделать очень важное, на мой взгляд, предупреждение. Так как повествование ведется, насколько это для меня доступно, в литературной форме, то может возникнуть предположение, что ради яркости картин и образов я добавляю к действительно происходившему и свой вымысел. Поэтому считаю своей обязанностью еще раз подчеркнуть то, что уже говорилось в предисловии к «Повести о трех поколениях», а именно, что здесь нет ни одного случая, не происшедшего в действительности, ни одной фразы, не отвечающей действительно высказанным мыслям. По большей части я буквально записывала эти фразы так, как не раз слышала их сама (лично или в рассказах очевидцев); иногда передавала в разговорной форме то, что слышала в виде рассуждений, и только очень редко вставляла общие, малозначащие слова, которые человек, принимая во внимание обстановку и его характер, мог бы сказать.

К этому нужно добавить, что если в «Повести» я в основном пользовалась очень яркими и образными рассказами бабушки, то значительной части описанного в «Жизни священника» я была непосредственной свидетельницей, пусть иногда и в очень раннем возрасте; воспоминания дремали до тех пор, пока более взрослой я не осознала их значения. Другие факты много раз повторяли то отец, то мать, то бывшая моя нянька, то еще кто-нибудь... Отчасти я пользовалась даже дневником отца, к сожалению давно потерянным для нас.

При этом, прежде чем начать писать, я долго проверяла, мысленно уточняла и язык, и хронологию событий. Если в чем и допущена натяжка, это в объединении в одну главу нескольких мелких случаев. Например, запуск змея, беседа на тему «многим же еретикам и гонителем одоле церковь» и ночное появление «трех хулиганов», безусловно, происходили не в течение суток, так же как и два «искушения» – Сони и отца Сергия. Между этими событиями мог быть промежуток в два-три месяца, между некоторыми, может быть, год, но никак не два-три года. Например, если я не могла уточнить времени происшедшего урагана, так и отметила это, а в других случаях в тексте употребляла неопределенные выражения.

Так же и в разговорах. Здесь я еще меньше, чем раньше, пользовалась тем, что человек «мог бы сказать», – только в таких фразах, которые не имеют существенного значения для характеристики данного лица. Иногда могло быть, что подлинная фраза или подлинный способ выражения были действительно употреблены, но не в описываемом случае, а в другом подобном. Но чем серьезнее затрагиваемый вопрос, тем значительнее сами выражения, тем они точнее. В них уже не допускалось никакого отклонения: если слова указаны как подлинная речь, значит, они такими и являются в действительности и по мысли, и по способу изложения, разве только с незначительной заменой однозначных слов.

В этом случае, конечно, является сомнение: неужели можно запомнить точные фразы, сказанные тридцать, сорок, а то и больше лет назад? Но они повторялись в моем присутствии по разным случаям или не раз рассказывались отцом и другими очевидцами, и рассказывались всегда одинаково. А свою память я проверяла на цитатах, приводимых в главе «Если любите Меня» и в других. Особенно выразительна для меня цитата: «Аще кто без повеления местного епископа...» Я записала ее, не зная, откуда она, и только через несколько лет смогла проверить. Она оказалась правильной. Судя по этому, можно верить, что правильно приводятся и другие слова. Все я старалась записать так, как вижу перед собой до сих пор, вплоть до движения руки, сматывающей веревку от змея.

А глава «Съезд», конечно, не является стенографической записью происходившего, но приближается к тому, как и последующие, где уже нет и группировки событий; они следовали одно за другим с такой быстротой, что впору их разделять, а не уплотнять.

Сознаюсь, были иногда соблазны, хотелось иногда вставить слова, которые были в духе описываемых людей и даже, весьма возможно, что были и сказаны. Но сказаны ли в действи-

тельности, на это нет ни намека в моих воспоминаниях. Поэтому, хоть и с сожалением, их приходилось отбрасывать, потому что написанное мною не более как воспоминания, а не повесть, хотя бы и биографическая.

Одним словом, ко всему написанному следует относиться с таким же доверием, как и к запискам любого свидетеля любых исторических событий, хотя рассказ ведется не в первом, а в третьем лице. То есть тут могут быть незначительные, в мелочах, ошибки памяти, неясные формулировки (где я говорю от своего лица), но ни слова вымысла.

Софья Самуилова

Книга первая Острая Лука 1908–1926

1908–1914

Глава 1 Как умирают

Десятого марта 1908 года светлая зала С-вых была сов сем не такой, как обычно. Надино пианино вынесено, зеркала и картины завешены белым полотном, тюлевые шторы на окнах спущены. В переднем углу целая роца банок с цветами. Яркий солнечный свет, льющийся в окна, смешивается с желтоватыми огоньками свечей и освещает резные листья небольших пальм и олеандров, бросающих прихотливые тени на спокойное бледное лицо с закрытыми глазами, на окаймляющую это лицо белую длинную бороду и на восковые, скрещенные на груди руки. Руки сложены, как складывают подходя к причастию, и к ним прислонена маленькая иконочка. Все остальное скрывается под массой белых цветов; кое-где проглядывают очертания серебристого гроба, но и его края покрывает широкая лента большого венка, последнего дара учеников и товарищей.

В комнате все время народ, люди приходят и уходят, но это не нарушает торжественной тишины: все двигаются бесшумно, говорят вполголоса, не слышно даже тиканья больших часов, их маятник остановлен; в этой комнате уже не существует времени, здесь вступает в свои права вечность.

Благоговейный покой, окружающий умершего, оскорбили бы громкие голоса и резкие, истерические крики; горячие слезы здесь льются неслышно, только время от времени прорвутся чьи-нибудь сдавленные рыдания. Искренно плачут все: брат, дети и племянницы, теща и невестки, которые в других семьях чаще всего остаются равнодушными к смерти свекра или даже про себя радуются ей; плачут бывшие ученики и сослуживцы, близкие знакомые и соседи.

Время от времени в солнечных лучах начинает струиться синеватый кадильный дым, раздается негромкое пение: «Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой!» Тогда рыдания становятся громче, но умиротвореннее.

К гробу съехались все дети, кроме младшего сына Филарета. Он в Томске, в университете, ему даже не телеграфировали: все равно он не успел бы к похоронам.

Ему предстояло в одиночку переживать свое горе, перечитывая письма с описанием смерти и похорон отца и записи горячих речей, произнесенных над гробом.

Старший сын Сергей с женой и дочкой Соней полсуток тащился на лошадях по тяжелой мартовской дороге до железнодорожной станции. Для быстроты он нанял пару лошадей, но и им было тяжело. После февральских снегопадов дорога разбита, полна ухабов и раскатов, среди дня снег подтаивает и цепляется за полозья, на сельских улицах дороги черны от навоза. Если бы не смерть дорогого человека, разве поехала бы Евгения Викторовна в такую пору? Два года тому назад, когда она ехала в Острую Луку шестого марта, при переезде через налившийся водой долок лед под санями провалился, и тогда она думала, что никогда в жизни не повторит такого путешествия. А вот сейчас девятое, а она едет, да еще назад поедет.

Правда, в этом году весна поздняя, а обратно можно поехать, дождавшись колесного пути, да в том ли дело? Просто невозможно было не ехать, сердце не вытерпело бы.

Было туманно. Временами начинал падать крупный снег. Соня то внимательно смотрела на мелькающие снежинки, то сладко засыпала в теплой щели между отцом и матерью. А те сидели и думали, что наступает весна, но папа на Пасху к ним не приедет и никогда больше они не увидят его ласковых голубых глаз и не услышат его доброго баска.

Второму сыну, Евгению, ехать гораздо ближе, и он успел еще застать отца в живых. Приехала из Казани и младшая дочь Сима. Старшая – Надя и теща Наталья Александровна встречают гостей. У всех, у приехавших и встречающих, глаза опухли от слез. Еще мужчины пытаются крепиться, а женщины плачут без конца.

Приходит теща Сергея Юлия Гурьевна с Мишей и Володей. Они здесь свои люди, бывают чуть не каждый день и еще вчера досыта наплакались. Юлия Гурьевна печально рассказывает, как покойник Евгений Егорович еще недавно вспоминал ее мать, умершую год назад, как он, уже больной, ласково шутил.

– Мишель пришел? – спрашивал он, здороваясь с ней. – Почему Мишель не пришел?

Лучше всех чувствуют себя Соня и Сима, дочка Евгения Евгеньевича. Возобновив прошлогоднее знакомство, они весело играют в самой отдаленной от залы комнате. Что им до больших, до того дедушки, который лежит в зале? Соня помнила совсем не такого. Она помнила, как когда-то давно-давно (полгода назад, пятая часть Сониной жизни) тот дедушка, слегка сгорбившись, вошел в столовую с террасы и дал ей поиграть блестящий карандаш. Только поиграть, ей так хотелось, чтобы он подарил его совсем, но дедушка не догадался. Вот если бы тот дедушка пришел теперь, она подбежала бы к нему и спросила, где карандаш. А этот, в зале, ее мало интересовал.

Сима была на одиннадцать месяцев моложе Сони, но дедушку помнила лучше: ведь она видела его еще вчера.

Вчера дедушка тихонько шел по комнате, папа и тетя Надя шли с ним рядом и для чего-то поддерживали его, а Симочка стояла среди комнаты и смотрела. Дедушка нагнулся и погладил ее по головке, потом его усадили на кушетку, потом осторожно уложили. Вдруг все почему-то заплакали, и Сима тоже заплакала, и мама увела ее и сказала, что дедушка заснул. Ну и пусть спит, о чем же тут плакать?

К вечеру, когда окончились занятия в семинарии, зала наполнилась людьми. Преподаватели, сослуживцы Евгения Егоровича, постояв у гроба, отходили в сторону и тихо разговаривали с детьми покойного, стараясь, чтобы их слова не долетели до толпившихся в комнате семинаристов. Но тем и не нужно было слушать. По мимике догадывались они, о чем шла речь, и, может быть, чаще, чем в действительности, им чудилось имя «Неофит». Все знали, что ректор Неофит с самого приезда невзлюбил секретаря училищного совета Евгения Егоровича, что у них часто выходили стычки, тяжело отражавшиеся на здоровье последнего. Знали и то, что произошло на заседании училищного совета чуть не накануне рождественских каникул. Там обсуждали проступок одного ученика. Ректор предлагал исключить его, а Евгений Егорович с горячностью, удивительно уживавшейся с обычной его мягкостью, воспротивился: мальчик не неисправимый, нельзя из-за одного случая губить ему всю жизнь. Рассерженный отпором, ректор довольно прозрачно намекнул, что секретарь защищает виновного, потому что получил взятку. Евгений Егорович до того разволновался, что не мог сразу ответить, как бы хотел, и так и уехал на каникулы к брату, не поговорив как следует с ректором. Зато в первый же день занятий, встретив его в учительской, заговорил о позорном обвинении. Неофит, не дослушав, махнул рукой и сказал: «Э, хочется вам о пустяках говорить!» «Пустяки? – вскипел Евгений Егорович. – Из-за этих пустяков я все каникулы места себе не находил, сердце вконец расшатал!» И он наговорил начальству много резких и горьких слов. Ректор начал мстить постоянными булавочными уколами. Здоровье Евгения Егоровича становилось все хуже, сердечные припадки все чаще, наконец он слег и не поднялся.

Семинаристам кажется, что они слышат все. Вот Василий Николаевич Малиновский, экспансивный хохол, учивший еще Евгения Егоровича, достает из бумажника смятый, а потом тщательно разглаженный листок и передает его собеседникам. Те внимательно рассматривают и снова прячут. И опять семинаристы знают, что это; таких листков ходит по рукам уже много и кроме того, который отобрал на уроке Василий Николаевич. Это карикатура на Неофита. Он изображен на коленях, с четками, замаливающим свой грех, и внизу подпись: «Я ускорил Евгения кончину!»

Отпевали покойного в семинарской церкви.

От церкви до кладбища далеко. Если мысленно расчленить на кварталы пустырь между городом и кладбищем, то всего получится не менее двенадцати кварталов. И всю дорогу семинаристы несли гроб на руках, катафалк только ради торжественности двигался сзади. Когда проходили мимо архиерейского дома, епископ Константин вышел к воротам и благословил процессию. Не доходя до кладбищенской церкви, на северо-запад от нее, у Евгения Егоровича давно припасено место; там похоронены его жена и мать, и там же, много лет спустя, легли и сын Евгений и внучка Сима. Гроб опустили в землю, взволнованные молодые голоса запели: «Со духи праведных скончавшихся». Один за другим начали выступать ораторы – преподаватели и семинаристы. Если бы кто-нибудь из тех, кто считает духовное красноречие сухим и безжизненным, послушал эти речи, произнесенные над гробом преподавателя литургики и гомилетики¹ его учениками, будущими священниками! Блестели влажные от слез глаза, звенели молодые голоса, звенело в них живое, напряженное чувство – скорбь, уважение, негодование... искренние чувства молодых людей, глубоко чтущих справедливость и ее защитника, каким, прежде всего, рисовался им покойный. Наконец кончились речи. Гроб засыпали, поставили крест, повесили венки. Последний раз прозвучала: «Вечная память!» Да, память об этом кротком и как будто незаметном человеке держалась долго. Двадцать – тридцать лет спустя после его смерти, стоило бывшему семинаристу, войдя в комнату, где он был первый раз в жизни, увидеть портрет отца ее хозяина, как светлели глаза вошедшего, теплело на сердце и лились тихие, прочувствованные слова воспоминаний; стоило сказать одному из этих людей: «Евгений Егорович был моим дедом» – и раскрывалась душа, и, как с близким человеком, начинался разговор о тайных заботах, скрывааемых иногда от родных. Нельзя и подумать, чтобы внуки Евгения Егоровича обманули доверие. Да что двадцать, тридцать, так было и через пятьдесят лет! В это время знавших Евгения Егоровича оставались считанные единицы, но, когда им напоминали его имя, прояснялись старческие глаза и дрожащий голос повторял: «Да, Евгений Егорович... таких людей на свете не встретишь!»

И говорившие готовы были как родных любить незнакомых женщин только за то, что они дочери Сережи и внучки Евгения Егоровича. Это ли не вечная память! Если люди всю жизнь сохранили о нем добрую память, то сохранит ее и Господь.

Медленно, неохотно расходились люди с кладбища; наконец ушли последние. Пушистый снежок мягко ложился на новую могилу, скрывая под ровной пеленой мерзлые комья земли. Ложился он и на венки, но легкий ветерок, точно протестуя, тихонько качнул широкие белые ленты, чуть слышно зазвенел фарфоровыми лепестками цветов, и снова переливчато вспыхнул серебристо-белый муар, и на нем отчетливо и твердо, характеризуя жизнь и упования умершего, выделились слова:

«ПОДВИГОМ ДОБРЫМ ПОДВИЗАХСЯ, ТЕЧЕНИЕ СКОНЧАХ, ВЕРУ СОБЛЮДОХ» (1 Тим. 4: 7). – «И АЗ ВОСКРЕШУ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (Ин. 6: 40).

¹ Гомилетика – наука о том, как говорить проповеди. – *Авт.*

Глава 2

Сынок да дочка – красные детки

1908–1909 гг.

Отец Сергей сидел в зале у старенького отцовского письменного стола, недавно только перевезенного из Самары, и думал. На столе перед ним лежала толстая тетрадь, сшитая из плотной графленой бумаги. На обложке тетради красовался рисунок пером – чья-то борода-тая голова со включенными волосами – и стояла тщательно выведенная надпись: «Записки сумасшедшего». В окна стучал частый, мелкий дождь; иногда стук прекращался, и тогда к стеклам прилипали крупные, моментально тающие хлопья снега. Тяжелые тучи, точно нависшие над разбухшей от дождей землей, беспомощно качающиеся ветки деревьев, на которых еще бились неопавшие листья, навевали тоску. Осень в этом году наступила рано, – только вчера был Покров, а дожди идут уже давно, дороги кругом стали почти непроходимыми, даже пароходы по Волге ходят неаккуратно. Отец Сергей хорошо знает это, он позавчера вернулся с епархиального съезда из Самары. Пароход, на котором они ехали, больше полусуток простоял на мели, и потом чуть не целый короткий осенний день они тащились со случайными попутчиками от пристани до дома; промокли, иззябли, кое-где брели пешком, потому что лошади, выбившись из сил, останавливались. Вот об этом-то съезде, с которого он только что вернулся, о его бурных прениях, о горячих спорах в кулуарах, обо всех так живо его интересовавших епархиальных делах, о которых он только бегло успел рассказать жене, молодой депутат и хотел поделиться с заветной тетрадью, называвшейся «Записки сумасшедшего». Но сей час в голове теснились новые мысли, новые волнения отодвинули на задний план происходившее на съезде, и они первыми попали в тетрадь.

«Еничка встретила меня обеспокоенная, – писал он своим четким овальным почерком. – Акушерка сказала ей, что у нее ненормальное положение плода, может потребоваться серьезное медицинское вмешательство и нужно ехать в Самару. А куда тут поедешь в такую погоду в ее положении!»

Вдобавок и я не могу ее сопровождать, потому что на днях приедут Александров и Пряхин, будут беседовать со старообрядцами; и с ними можно бы как-нибудь сговориться, отложить, но старообрядцы вызвали московского начетчика Варакина, и мой отъезд будет истолкован как бегство. Значит, уехать невозможно, а как отпустить ее одну? И как быть с Сонюшкой?»

Отцу Сергию припомнилась картина, которую он наблюдал вчера. Евгения Викторовна сидела на своем обычном месте, у стола в столовой, и шила миниатюрное бельецо. От Сони осталось много детского приданого, но кое-что нужно подновить и добавить; нарядный крестильный чепчик непременно должен быть новым, как и рубашечка. Рубашечку, купленную бабушкой, отец Сергей привез из Самары, но на ней были голубые банты, а кто знает, может быть, родится не мальчик, а девочка, и тогда банты должны быть розовыми. И молодая женщина, сделав к кружевному чепчику голубенькие бантики, готовит, на всякий случай, полный комплект розовых.

Трехлетняя Соня стояла на коленях на стуле около матери и внимательно рассматривала привезенную отцом книжку. Всю страницу занимала большая красочная картинка: еж несет на иглах яблоки. Вверху картинке надпись – несколько слов, немного больше полстроки, – целая бездна премудрости. Соня, напрягая короткую детскую память, храбро борется с путающимися буквами и, хоть с трудом, но побеждает одно слово за другим. Евгения Викторовна, оторвавшись от своей работы, помогает ей. В ее взгляде, брошенном на мужа, ласка и любовь

к обоим, к отцу и дочери, и та же тревожная мысль: «Как быть с Сонюшкой? На кого оставить ее теперь и не останется ли она через несколько времени без матери навсегда?»

Отец Сергей не записывал, что было переговорено с женой за эти тяжелые двое суток, не описывал горячих молитвенных вздохов перед иконой Покрова Божией Матери, тяжелых ночных дум, предшествовавших решению. Он только написал: «Решили положиться на волю Божию».

Развязка наступила неожиданно быстро. На следующий вечер у молодых супругов уже был сын. Акушерка, за которой посылали в село за двенадцать верст, не ус пела – помогала опытная старушка, бабушка Авдотья. Выйдя из комнаты больной, она сказала озабоченно: «Сыночка Бог дал, батюшка, только больно плохенький – не знай, до утра доживет, не знай нет. Надо бы сейчас окрестить».

Окрестить было недолго. Псаломщик, Алексей Алексеевич, жил рядом, ему пришлось быть кумом, кухарка Ариша заменила куму. Когда Соню, безмятежно игравшую в кухне с дочкой сторожа, позвали в комнату и показали ей маленький живой сверточек, лежащий в ногах поперек маминой кровати, это был уже не безымянный мальчик, как бывает обыкновенно. Это был маленький братец Костя.

Для Сони начались веселые дни. Никогда еще за всю свою короткую жизнь она не видела сразу столько нового и любопытного. Приходили женщины, приносили подарки «на зубок». По большей части это были какие-нибудь деревенские лакомства, и первый кусочек, конечно, доставался Соне. Потом бабушка Авдотья показывала гостям Костю, и Соня находила, что он гораздо интереснее всех ее кукол, среди которых, кстати, не было ни одной совершенно целой. Особенно она любила смотреть, как его перевертывают и он слабо шевелит крошечными ручками и ножками. Завернув мальчика в чистые пеленки, бабушка Авдотья передавала его маме покормить. Костя начинал сосать вяло, неохотно, часто останавливаясь отдыхать, а мама, не отрываясь, смотрела на его личико, причем на губах ее появлялась ласковая улыбка, но глаза были по-прежнему строги и печальны.

Среди дня Ариша убирала все лишнее с покрытого белой салфеткой стула, стоявшего у изголовья больной, и приносила обед. Соня добилась разрешения обедать тут же, сидя у стула на маленькой ножной скамеечке, и это последнее удовольствие окончательно примирило ее с маминой болезнью.

Интересно было разговаривать с акушеркой, прожившей у них несколько дней. Это от нее первой Соня услышала слова, которые потом приходилось слышать довольно часто: «Сынок да дочка – красные детки». При этом папа вздохнул и ответил: «Не осталась бы опять одна дочка».

Акушерка уехала, а на ее месте появился врач, небольшой, плотный, в очках с широкой золотой темной оправой, совсем не таких, как у папы. Соня так занялась им, что совершенно не заметила миссионеров, приехавших через несколько дней. (Лет двадцать спустя один из них, отец Димитрий Александров, ставший к этому времени митрополитом Саратовским, говорил о Косте: «Мы с ним познакомились через две недели после его рождения».)

Папа делил внимание между ними и врачом, хотя сам же настойчиво говорил маме: «Не заботься о них, не беспокойся, слушайся того, что говорит доктор, а мы сами как-нибудь управимся». Но мама все-таки беспокоилась. Она говорила, что без нее Ариша все перепутает, не сумеет ни приготовить, ни подать, и то и дело призывала ее, чтобы уточнить, как делать заливное из рыбы, как тонко раскатывать тесто для пельменей, как расставлять приборы на столе и еще по многим вопросам, волновавшим ее сердце хозяйки. Вот сладкое Ариша так и не могла одна сделать, не только сбить крем, но даже заморозить мороженое; хорошо еще, что успели замариновать вишню и виноград и намочить яблоки по старинному рецепту Юлии Гурьевны, а то было бы совсем неловко перед посторонними. Правда, ближайшие священники, приезжавшие послушать беседы, зная, что матушка больна, не оставались ужинать и прямо

после беседы уезжали домой, но самарские гости жили здесь, и не хотелось перед ними ударить лицом в грязь.

С первых дней жизни Костя проявил с-овское упрямство, как любила говорить Надя, сестра отца Сергея, официально считавшаяся крестной мальчика. Вопреки всем тревогам и предсказаниям, он остался жить, хотя только его родители знали, чего им стоило отбить его у смерти. Евгения Викторовна после болезни потеряла молоко, и ребенка с первого же месяца начали подкармливать, а потом и совсем перевели на искусственное питание, что, конечно, вредно отозвалось на состоянии и без того слабенького ребенка. Его здоровье то немного улучшалось, то опять ухудшалось, и летом родители решили, что его непременно нужно повезти к самарским докторам. Отец Сергей проводил жену с детьми и оставил ее жить в Самаре до тех пор, пока Костя или достаточно не оправится, или умрет. Иногда последнее казалось более вероятным.

1909 г.

Маленьких детей принято хоронить в том, что надевалось на них после крещения. Для худенького тельца Кости длинная крестильная рубашечка была еще впору, головка его, как у всех рахитичных детей, выросла больше нормальной.

Евгения Викторовна, сидя в уютной комнатке, где прошло ее девичество, глотая слезы, опять шила ему чепчик, для похорон, хотя его давно уже держали с открытой головкой.

Занятая горькими мыслями, молодая женщина не слышала звонка, не слышала разговоров в коридоре и очнулась только тогда, когда отворилась дверь в ее комнату.

– Еничка, телеграмма из Острой Луки, – встревоженно сказала Юлия Гурьевна.

В мирном, неторопливом течении тогдашней жизни телеграмма была редким явлением; она всегда говорила о чрезвычайном событии, почти всегда неприятном. Последняя телеграмма, которую больше года тому назад держала в руках Еничка, извещала о смерти Евгения Егоровича. Неудивительно, что у нее дрожали руки, пока она срывала облатку.

«Как Костя? Если плохо, вызывайте, приеду. Сергей». Сверху значилось: «Ответ оплачен, 15 слов». Но отец Сергей не дождался этого ответа, который в селе, далеко отстоящем от телеграфа, мог быть получен не раньше как на третьи сутки. На следующий день он явился сам. Приехавший в Острую Луку погостить к родным священник согласился на некоторое время заменить его, а потом начался осенний съезд, давший возможность прожить в Самаре до тех пор, пока опасность миновала.

Лето, проведенное в Самаре, не прошло для Евгении Викторовны бесполезно. Пользуясь тем временем, когда Косте было лучше и его можно было оставлять с нянькой под верховным надзором бабушки, она окончила школу рукоделия и вернулась домой с дипломом сапожника, с полным набором сапожных инструментов и в туфлях собственной работы. «Семья увеличивается, – рассуждала она, – детям то и дело придется покупать обувь, так лучше чинить и шить ее самим».

Действительно, с этого времени обувь шилась дома. Отец Сергей присмотрелся к работе жены и отобрал у нее часть, требующую большей силы и умения обращаться с молотком и гвоздями: натягивание на колодку и подбивку подошв, предоставив ей шить заготовки. Ботиночки получались несколько грубее магазинных, но лучше, чем могли сделать деревенские сапожники, и, главное, прочные. И все-таки ни одна пара не дождалась того времени, когда их обладатель вырастет из них. «Обувь у них горит, как на огне, словно они не по земле ходят, а по раскаленной плите, – повторяла Евгения Викторовна общую жалобу всех матерей, – особенно у Миши, он изнашивает вдвое больше ботинок, чем Костя». (Это было уже тогда, когда, к некоторой Сониной досаде, про них перестали говорить: «Красные детки»). Впрочем, она утешалась рассуждением, что теперь у них будет два мальчика и одна девочка и, следовательно,

мама будет ее любить больше.) Особенно мучили носочки обуви. Евгения Викторовна делала на них фасонные, словно для украшения, накладки, меняя их по мере того, как они снашивались, но, стоило только немного недоглядеть, как носочки опять белели и в дырки проглядывали заштопанные чулки. Евгении Викторовне много приходилось воевать с подраставшей Соней, чтобы заставить ее держать в порядке чулки и вечно продырявливавшиеся локти. Зато ботинки Соня чинила с удовольствием – все равно, нужно ли было поставить заплатку сбоку ботинка, накладку на носок, подбить подметки или заменить стоптанный до основания каблук. «Ее заплатки за квартал видно», – полусмеясь, полуужасаясь, говорила Евгения Викторовна мужу, но не мешала дочери: пусть приучается, в жизни все пригодится.

Глава 3 Костя капризничает

1909 г.

Костя капризничал. За время болезни он привык, чтобы, укладывая его спать, с ним ходили по комнате, и, поправившись, требовал того же тем настойчивее, чем больше силы появлялось в его легких. Мало того, он становился все требовательнее, ночью он спал только на ходу, стоило положить его в постельку, как он просыпался и снова поднимал крик. Сколько раз Еничка пыталась не обращать на него внимания, но безуспешно. Крик становился все громче, она наконец не выдерживала характера и поднималась.

– Так нельзя, – говорил отец Сергей жене, когда она выходила к чаю осунувшаяся, с красными глазами и вяло, без аппетита жевала завтрак. – Ты изведешься, днем тебе ни за что не дадут отдохнуть как следует. И носить его подолгу тебе теперь нельзя, он уже тяжелый. Да и вообще, нельзя давать ребенку с этих пор брать верх над собой. Если он поймет силу своего крика, с ним вообще сладу не будет.

– Он еще маленький, не понимает, – возражала Евгения Викторовна.

– Не беспокойся, это-то они быстро начинают понимать. Дай я повожусь с ним несколько ночей. Не бойся, справлюсь. Ведь справлялся же я с Соней, когда ее отнимали от груди. У нее тогда были более серьезные причины для слез, и все-таки поплакала и перестала, привыкла. А то появится еще малыш, что ты будешь делать с двоими, если вовремя не призвать этого героя к порядку?

Последнее соображение было, кажется, самым веским. Вечером Костину кроватку придвинули к отцовской. «Герой», плотно накормленный и не подозревавший о состоявшемся заговоре, поспал немного с вечера, потом завозился и закричал. Отец Сергей осторожно осветил пеленки, проверил мимоходом, правильно ли лежит на подушке головка ребенка и не сбилось ли одеяльце, и опять убрал руку. Костя заплакал громче – никакого результата. Он пустил еще один длинный вопль, на минуту приостановился, чтобы набрать воздуха и прислушаться, – ничего. Тогда пронзительные вопли последовали один за другим почти непрерывно, все усиливаясь, – до того, что от них в ушах звенело и дребезжало. Некогда было больше оставаться и прислушиваться. Костя только торопливо, захлебываясь, глотал воздух и снова кричал, закрыв глаза, напрягаясь всем тельцем. Конечно, он не мог слышать легких шагов подошедшей матери и тихого голоса отца, говорившего: «Иди, Еничка, ляг и не волнуйся, с ним ничего не случится, устанет кричать и уснет. Жалко? И мне жалко, но, если сейчас податься, следующий раз придется начинать все сначала, и он будет кричать еще дольше и отчаяннее, чем сегодня».

Костя бушевал с перерывами чуть не всю ночь. Он то засыпал, то опять просыпался и поднимал громкий плач, хотя уже не такой, как вначале. Только под утро он заснул по-насто-

ящему и проспал гораздо дольше, чем обыкновенно. На следующую ночь концерт повторился, но был уже значительно короче. На третью ночь мальчик снова было заплакал и вдруг, как будто что-то вспомнив, замолчал. Не раз он потребовал было поставить на своем, когда, через несколько дней, его кровать снова перекочевала к кровати матери, однако и эта попытка оказалась безуспешной, и он покорился.

Глава 4 Змей

1910 г.

Был чудный весенний день. Ясное солнце ласковым светом манило к себе все живое: завалинки домов и старые пни на солнечной стороне, словно большими пятнами крови, были покрыты массой красных козявок – «казаков», – на улицах стон стоял от ребячьего крика, а в хо лодке у домов сидели на травке женщины, вязали чулки, сучили шерсть и судачили, наслаждаясь краткой передышкой в тяжелых весенних работах. Синее-синее небо с белыми барашками облаков безмятежно раскинулось над изумрудной муравой площади, еще не испорченной размятым навозом и свежесделанными кизьяками², которые скоро займут добрую четверть ее. Вдоль плетня, примыкавшего к церковной ограде сада, лежали кучи бревен, а около них стояли рядом сразу двое козлов. Мужики попарно, один внизу, другой наверху, на лежащем на козлах бревне, неторопливыми, размеренными движениями дергали то вверх, то вниз большую пилу, и она со своеобразным шорохом вгрызалась в дерево. Этот шорох и легкий смолистый аромат только что распиленного дерева, казалось, еще подчеркивали царящую кругом дремотную тишину.

И все-таки и наверху, и внизу было беспокойно. Целая толпа детворы, от маленьких подружек Сони до тринадцати-четырнадцатилетних старших школьников, окружали батюшку, стоявшего посреди площади.

И все они стояли, подняв головы, и смотрели вверх, где в яркой синеве неба трепетало и кувыркалось что-то белое и откуда доносился ровный шум, напоминающий щелканье трещоток, которыми гоняют птиц в садах. Туда же смотрели, оторвавшись от работы, женщины, и даже стоящие на бревнах мужики тоже на некоторое время приостановились, наблюдая за небом.

Вышла ко двору погреться на солнышко баушка Параня, самая древняя из всех остро-луцких старух. Нет, впрочем, не самая древняя: ее сестра, баушка Шима, была еще старше, обе они остались в селе как живые образцы далекого прошлого. Даже имена их были необычны: их звали так, как они сами называли друг друга и как не звали никого больше в селе. Обыкновенно старух уважительно называли полным именем: баушка Анна, баушка Матрена, баушка Соломонида, и только к очень близким допускалось обращаться с сокращением имени; баушка Маша, баушка Лиза, да и сокращения были самые употребительные – так же звали и молодых женщин и девушек. А родную внучку баушки Шимы, окрещенную в ее честь Евфимией, называли все-таки Фимой, а не Шимой, и все Прасковии в селе именовались Пашами. Была, правда, одна «странная» (нездешняя) старуха не из древних, называвшаяся Проса-баба, что звучало как прозвище, и, кто его знает, может быть, даже обидное. Но ни Шимы, ни Парани больше не было ни в Острой Луке, ни в соседних селах. Недаром молодежь, с каким-то особенным чув-

² Кизьяки – высушенный навоз.

ством, как к разговору выходцев из другого мира, прислушивалась к коротким словам, которыми обменивались сестры, встретившись в воскресенье около церкви:

– Это ты, Паранька?

– Я, я, Шимарка!

– Ну, как живешь?

– Ничего, живу, Шимарка!

– Ну, иди, иди, Паранька!

Была у баушки Парани почти детская слабость: любила старуха сладенькое.

Когда матушке случалось принести в церковь кутью, украшенную разноцветными леденцами, баушка Параня чуть не все их собирала в рот да в платочек, приговаривая: «Это внучку». Матушка уже знала это и брала с собой запас леденцов, чтобы всем поминальщикам хватило.

Вот эта-то баушка Параня заинтересовалась толпой среди площади. Добрела потихоньку, опираясь на палочку, посмотрела вверх, на батюшку, опять вверх – и сказала:

– А ведь это, батюшка, не иначе как оказия³.

– Оказия, баушка, оказия! – весело откликнулся батюшка. – А вот мы ей сейчас письмо пошлем. Он надорвал посредине услужливо поданный кем-то из ребят клочок газеты, надел его на бечевку, и подхваченная ветром бумажка взлетела по бечевке вверх, к самому змею, который, гудя трещоткой и помахивая длинным мочальным хвостом с кисточкой из разноцветных тряпок, парил в высоте.

– Козырнул, козырнул, получил письмо, кланяется, – кричали старшие дети, когда змей, подхваченный порывом ветра, резко метнулся было вниз и опять выровнялся, направляемый умелой рукой, дергавшей веревку. Малыши смотрели на батюшку так, что, предложи он сейчас привязать к веревке и послать наверх любого из них, они не усомнились бы, что он сможет это сделать.

Из дома вышла Евгения Викторовна и подошла к мужу.

– Сережа, неудобно, люди смотрят, – тихо сказала она.

– Ну и пусть смотрят, ничего тут нет неудобного, – отозвался отец Сергей, отбрасывая назад длинные светло-русые волосы.

* * *

Несмотря на то, что Еничка до одиннадцати лет жила в селе, а отец Сергей и родился в городе, у нее было больше городских привычек, чем у него. Может быть, это объяснялось тем, что она с переселения в Самару до назначения учительницей в Васильевку почти не выезжала из города, тогда как Сережа, с тех пор как начал себя помнить, каждое лето проводил в селе, сначала у бабушки Наталья Александровны, а потом у дяди Серапиона Егоровича. Дети обоих братьев, Евгения Егоровича и Серапиона Егоровича, были почти ровесниками, и, как только старшие из них достигли десятилетнего возраста, в семьях установился удобный для всех порядок: зимой учащиеся дети Серапиона Егоровича жили в Самаре у Евгения Егоровича, а в летние каникулы, даже, при возможности, на Рождество и Пасху, вся орава отправлялась в Яблонку к отцу Серапиону.

После того как отец Серапион овдовел, а Сережа женился, вся молодежь, а иногда и старики, летом стали ездить к нему. Но состав гостей с каждым годом менялся. С самого начала к ним присоединились К-вы, Юлия Гурьевна, с троими младшими детьми. Потом умер Евгений Егорович, вышли замуж младшая сестра отца Сергея – Сима и две двоюродные сестры, отец Серапион заленился ездить за сто с лишком верст. Филарет С-в, Санечка и Миша К-вы разъ-

³ «Оказия» на местном наречии означает необыкновенное явление, граничащее с чудесным. – *Авт.*

ехались учиться по разным городам, приезжали в Острую Луку не в одно время и не всегда встречались.

Но кто бы ни приезжал, в доме всегда слышался смех и пение; по вечерам, когда сваливала жара, мужчины играли на площади в клек (городки), в чижик, причем отец Сергей не отставал от других. Позднее выходили женщины, подходили учителя с женами, псаломщик с женой и свояченицей, сторож Арефий; покончив с делами, выходили кухарка и нянька, еще кто-нибудь из соседней молодежи. Играли в горелки, в кошки-мышки, в «макара» и расходились тогда, когда сторож шел звонить полночь.

И везде отец Сергей присутствовал, хотя и не принимал прямого участия; устраивал круг; чтобы он был больше, приносил вожжи, и тогда часть играющих стояла, поддерживая веревку, а не держась за руки; сам стоял с ними, и никому это не казалось странным. А теперь, пока гостей еще не было, он решил повеселить ребят, пускал змея и считал это еще более невинным занятием.

Но змея все-таки пришлось спустить. К отцу Сергию подошел один из его молодых помощников, Григорий Яшагин, и сказал озабоченно:

– Батюшка, пойдем сейчас к Кошигиным, мы их там маленько растравили. Сама тетка Ненила за Петром Ивановичем пошла, а я сюда.

Григорий Яшагин и другие молодые мужики: Николай Собашников, Никита Амелин, Сергей Прохоров – сблизились с отцом Сергием во время спевок, которые он зимой устраивал в своей квартире. На спевках занимались тем, на что регенты не обращали должного внимания, – гласовым пением, тем, которое называют простым и которое гораздо красивее и молитвеннее многочисленных нотных переложений. При этом отец Сергей, который не мог руководить пением во время службы, добивался, чтобы певчие сразу принимали тон, в котором делался тот или другой возглас, и запевали, не дожидаясь камертона, без досадных «до-ми-соль-до», так искажающих службу и разрушающих создавшееся настроение.

– Батюшка возглас дает, им бы подхватить, а они докают да микают, камертон разогревают, не дождешься, когда запоют, – жаловались на подобные хоры прихожане.

Отцу Сергию со своими не особенно грамотными певчими удалось достичь того, что недоступно многим городским хорам, следующим за камертоном регента «как телок за коркой». Конечно, не обходилось без промахов, случалось, меняя тон или напев, хор разбрехался кто в лес, кто по дрова, даже совсем останавливался, но исключения только подтверждают правила.

Многих привлекали на спевку скрипки и фисгармония отца Сергия, возможность после официальной части послушать еще что-нибудь, не обязательно духовное. Но постепенно там начинали говорить, и не только о пении. После очередного приезда миссионеров молодежь заинтересовалась беседами со старообрядцами, и отец Сергей предложил занятия на эту тему. Изучали историю раскола, вбирали его основные положения и возражения раскольников на беседах, учились говорить и брать инициативу в свои руки. «Нападать всегда легче, чем защищаться, – учил отец Сергей. – Когда вас засыпают вопросами, старайтесь ответить на них ясно, но покороче, а потом переходите в наступление, сами задавайте вопросы, добивайтесь, чтобы на них отвечали и не увильвали». Отец Сергей приводил один-два примера из своей практики и продолжал: «Старообрядцы, да и сектанты тоже, любят задать вопрос из одной темы, потом из другой, из третьей, так что их собеседник разбрасывается на мелочи и ничего цельного не получается. А если им зададут трудный вопрос, стараются ответить на него мельком, не по существу и перескочить на другое. Не допускайте этого, повторяйте вопрос, на который они не ответили, покажите слушателям, что ответ недостаточен, не давайте уклоняться от начатой темы».

Через некоторое время молодые люди, сначала робко, а потом все увереннее начали проявлять свои силы в разговорах с соседями. Такие разговоры отец Сергей ценил чуть ли не

больше настоящих, официальных бесед. Он считал, что последние слишком задевают самолюбие сторон и трудно надеяться убедить людей только этими беседами. Зато они пробуждают интерес к поднятым на них вопросам, после них начинаются разговоры в более спокойной, домашней обстановке, и тут-то можно довести людей до сознания своей неправоты. Такие разговоры часто возникали стихийно (может быть, и не совсем, а после нескольких наводящих слов), когда отец Сергей заходил к кому-нибудь по своим делам – купить дров, заказать новую плетюшку на рыдван и т. п. У его новых помощников, «застрельщиков», как он, шутя, называл их, было больше возможностей для таких встреч. Говорили летом по пути на сенокос, осенью – когда делили землю, зимой – шагая около дровней с хворостом. Если дела не было, его изобретали и, заведя нужный разговор, спорили до тех пор, пока одна из сторон не оказывалась в затруднении. Тогда решали пригласить батюшку и начетчика⁴ того толка, к которому принадлежали хозяева. И очень редко были случаи, чтобы батюшка не пошел, потому что ему некогда, – это дело он считал одним из важнейших.

– О чем говорили? Какие книги брать? – спрашивал отец Сергей, сматывая веревочку змея. – Ну, шпингалеты, – обратился он к малышам, – марш по домам. В другой раз еще запустим.

– Да разные разговоры были, – ответил Григорий, рассеянно следя за быстро мелькающей в руках батюшки палочкой, превращающейся в продолговатый клубок. – Книг пока не надо. Понадобится, так добежим.

Когда отец Сергей со своим спутником подходил к назначенному дому, туда уже набились любители послушать споров о Божественном. Соседи давно заметили, что к Кошигиным зашел Григорий, и, когда он выйдя, зашагал не в сторону дома, а в обратную, по направлению к церкви, а Ненила Кошигина, на ходу поправляя головной платок, заторопилась вдоль по улице, все поняли: будет беседа. Обыкновенно они затевались зимой, в свободные от полевых работ длинные вечера; сегодня был исключительный случай, и тем больше нашлось желающих послушать.

Беседы со старообрядцами носят своеобразный характер. Если молокане⁵, баптисты⁶ и подобные им основывают свои доказательства исключительно на Библии и спорят о почитании святых, об иконах, о том, можно ли участвовать в войнах, то раскольники спорят об исправлении книг при Никоне и об обрядах: на пяти или семи просфорах совершать литургию, двумя или тремя перстами креститься и т. д. Православные признают и те и другие обряды, требуя только подчинения церковной власти, но спорить приходится, приходится доказывать, что опасна не разница обрядов, а отсутствие духовной дисциплины. В связи с этим выдвигается самая серьезная тема – о Церкви. Оправдывая себя за невыполнение многого, что сами считают обязательным, старообрядцы объясняют это тем, что истинная Церковь повреждена антихристом и потому теперь «все порушено».

Свои положения они подтверждают ссылками на различные книги. Библии старообрядцы почти не читают, существует даже мнение, что, прочитав ее «от корки до корки», можно сойти с ума, «зачитаться». Зато они наизусть, с указанием страниц, цитируют Книгу о Вере, Книгу Никона Черногорца, Великий Катехизис, Кормчую и другие книги, и непременно по старым, неисправленным изданиям. Противораскольничьему миссионеру нужно иметь большую начитанность и находчивость, чтобы не дать запутать себя случайными, без связи выдернутыми

⁴ Начетчик – человек, много читавший и обыкновенно умеющий говорить «от Писания». – *Авт.*

⁵ Молокане – русская религиозная секта, получившая распространение в России во второй половине XVIII–XIX в. Молокане отвергают Священное Предание, церковные таинства, церковную иерархию и священство, храмы, иконы. Собираются для пения псалмов, чтения Священного Писания и обсуждения духовных вопросов.

⁶ Баптизм – одно из направлений протестантизма, возникшее в начале XVII в. в Западной Европе. В основе баптизма лежит положение о том, что крещение возможно лишь в сознательном возрасте. Основным авторитетом в религиозной жизни признается Священное Писание. В России баптизм стал распространяться со второй половины XIX в.

фразами, иногда – неправильно истолкованными просто по недостаточному знакомству со славянским языком.

– Нет, Петр Иванович, ошибаешься, – говорил в самый разгар спора отец Сергей, – не может быть такого времени, чтобы истинная Церковь Христова, хотя бы при малом числе людей, не сохранилась на земле во всей чистоте со всеми таинствами и со священным чином. Ведь Сам Христос сказал об этом: «Врата адовы не одолеют ее».

– Врата адовы не одолеют, а еретики одолели, – возражал Петр Иванович, – как же написано: «Многим же еретикам и гонителем одоле Церковь».

Отец Сергей в первый раз слышал этот текст и, утомленный предшествовавшим разговором, не сразу нашел что ответить. Следуя общей в таких случаях тактике – прочитать цитируемое место и понять основную мысль, он переспросил: «Где-где, говоришь, это написано?» – и обратился к помощникам:

– Григорий, Николай, сходите к матушке, принесите эту книгу, да и другие заодно захватите, может быть, понадобятся.

Пока поджидали посланных, говорили кое о чем, напряжение ослабело, спорщики отдыхали. Но отец Сергей не переставал думать о затруднивших его словах. И вдруг его осенило. Догадка оказалась настолько проста, что он чуть не вскрикнул вслух: «Что же это я, славянский язык забыл?» – но сдержался и сказал другое:

– Как, по-твоему, Петр Иванович, какая разница в словах «повеле» и «повелеша»?

– Очень просто, – ответил Петр Иванович, немного удивленный вопросом. – «Повеле» – это когда один, а «повелеша» – много.

– Ну вот, вот, – подхватил отец Сергей, – так и тут, где ты сказал, говорится про одну, про церковь, а не про многих. Если бы говорилось про еретиков, то было бы сказано: «Одолеша». А написано «одоле», значит, не еретики одолели церковь, а она их одолела. – Принесли? – обратился он к вошедшим, раскрасневшимся от быстрой ходьбы и тяжелой ноши помощникам. Книжки были солидных размеров, в толстых деревянных, обтянутых кожей переплетках, с медными застежками.

– Ну и хорошо, еще не раз в них заглянем. А сейчас и без них разобрались. Ведь правильно? – повернулся он к слушателям.

– Правильно, правильно, – раздались голоса. Завзятые сторонники Петра Ивановича молчали.

Глава 5 **«Голуби вы, голуби!»**

1910 г.

Долго же в этот вечер пришлось матушке ожидать мужа! Она покормила и уложила детей, а сама села было шить новую рубашечку Косте, потом отложила ее и взялась за книгу, но ни чтение, ни шитье не ладилось. Время от времени она выходила в неосвещенную залу, приподнимала занавеску у окна и напряженно и безрезультатно всматривалась в темноту. Когда наконец послышались знакомые шаги, матушка вышла навстречу недовольная, но отец Сергей, торопливо глотая остывший суп, оживленно рассказывал разные эпизоды беседы, и Евгения Викторовна тоже оживилась и заинтересовалась. Старательно размешивая гречневую кашу, в которой никак не хотело таять масло, она расспрашивала о подробностях, радовалась удачным ответам, волновалась и трепетала, когда отец Сергей рассказывал, как он чуть было не осрамился. Может быть, они одни только не спали в селе в такое позднее время.

Нет, не только они. Неожиданно на улице против их окон раздалось пение. Своеобразный, тягучий напев духовного стиха, который поют бродячие нищие.

Голуби вы, голуби,
Голуби вы сизьи!
А куда вы, голуби, летали?
А мы летали во Святый Град.

Певцы пели с чуть заметной гнусавинкой, с легким дребезжанием в голосе, но чувствовалось, что голоса молодые, сильные и что певцы владеют ими гораздо лучше, чем это нужно слепым нищим.

– Наши! Миша и Филарет!

Евгения Викторовна вскочила, чтобы бежать отпирать дверь.

– И еще кто-то с ними, – добавил отец Сергей. – Подожди, я через коридор пушу, здесь ближе.

Через полминуты в коридоре загремел тяжелый засов и раздался веселый голос отца Сергея:

– Проходите, проходите, по ночам не подаем! Еничка, посмотри, ворвались какие-то хулиганы, и не выгонишь!

Конечно, это были Филарет и Миша и их товарищ Сашка Архангельский. Но отец Сергей был прав, назвав их хулиганами. В лаптях с неумело намотанными онучами, в косоворотках и деревенских пиджаках, наброшенных на одно плечо, в картузах, лихо заломленных на затылок, а у Филарета сдвинутом чуть не на самые глаза, с растрепанными волосами, котомками за плечами и увесистыми палками в руках, они действительно имели такой вид, что одинокий прохожий, встретившись с ними среди поля, мог почувствовать себя очень неуютно.

– Что это вы так нарядились? – рассмеялась и Евгения Викторовна.

Молодые люди наперебой рассказывали, что они решили пешком пройти по всему уезду, побывать в Высоком, у отца Евгения, брата отца Сергея, и у других более дальних родственников и знакомых.

Эта прогулка, на которую они смотрели как на оригинальное развлечение, едва не причинила им неприятности. Когда они проходили через большое волостное село верстах в двенадцати от Высокого, их задержал урядник, заподозривший в них агитаторов. Им едва удалось добиться, чтобы их показали местному священнику, который бывал у отца Евгения и знал их всех. Под его поручительство молодых людей и отпустили, но дальше они путешествовали уже в своем виде.

Притихший дом оживился, разбудили Агашу. Она, заспанная и веселая, достала из погреба молока и поставила самовар. Наварили яиц и, истребляя импровизированный ужин, говорили, говорили, словно все новости непременно нужно было выложить сегодня. Заботливые хозяйки в соседних домах уже начали просыпаться и посматривать на звезды – не проспаться бы, не опоздать выгнать овец, – когда гости наконец успокоились на широкой кошме в предбаннике. А на восходе солнца они уже были на ногах: захватили фотоаппарат, хранившиеся на мазанке Мишины удочки (замечательные удочки, с бамбуковыми удилищами и пробковыми поплавами) и отправились на Чагру – купаться и удить.

Соня в это утро тоже поднялась раньше обыкновенного, по крайней мере ей так показалось, потому что мама и Агаша спали. Она не могла понять – во сне или в действительности она слышала голоса дядей. Девочка осторожно оделась, крадучись вышла из спальни. От этого народа можно ожидать всяких проказ, прежде всего, они могут где-нибудь спрятаться и выскочить, когда она не ожидает, или выкинуть еще какую-нибудь штуку. Но теперь у нее есть шансы перехитрить противника: никто не подозревает, что она встала, а она тут как тут.

Сначала ей как будто повезло: в уголке прихожей стояли пыльные котомки. «Большие, а не догадались мешки спрятать», – про себя посмеивалась Соня, уверенная, что гости прячутся от нее, и продолжала поиски. Она обошла все сараи, заглянула в каретник и на погребницу, постояла около конюшни, прислушиваясь, не раздастся ли с сеновала приглушенный смех, и вернулась разочарованная. Гости успели-таки исчезнуть.

Они явились только к чаю, да и то с опозданием. Вернулись голодные, без рыбы, но довольные прогулкой. Едва позавтракав, Филарет с Астраханским забрали из стола отца Сергея фотореактивы и лампочку с красным стеклом и, посмеиваясь, отправились в темный чулан проявлять сделанные снимки. Через некоторое время Филарет торжественно показал еще влажный негатив:

– Рекомендую вашему вниманию знаменитого рыболова!

На негативе струилась неширокая река, поднимался сажени на две обрывистый берег, сверху поросший тальником. Песчаная площадка около самой воды привлекла бы внимание любого удильщика. Он и был там: в воду закинуто несколько удочек, рядом стоит маленькое ведерко для рыбы, а сам Миша мирно спит, свернувшись калачиком и прикрывшись фуражкой от бьющих в глаза солнечных лучей.

Глава 6

Пешком

1910 г.

С увеличением семьи молодые супруги начали задумываться о будущем. Острая Лука – село небольшое, к тому же на третью часть зараженное расколом, одно из тех сел, в которых священнику для поддержания сносного существования давался двойной земельный надел, но и этого было мало. Правда, пока доходов хватало, но вот дети подрастут, будут учиться, нужно будет одевать их, платить за обучение, за книги, чаще ездить в город, – тогда будет трудно, нужно к тому времени найти дополнительные средства к жизни. И отец Сергей снова вспомнил про пчел. Вернее, он не забывал их никогда, в его огороде, как раньше в Царевщине, каждый год стояли один-два улья, но это было занятие между делом, а теперь следовало поставить все на более широкую ногу – обзавестись медогонкой, разным недостающим инвентарем, ульями и рамками в достаточном количестве, постепенно увеличить пасеку и добиться того, чтобы она стала доходной. Весной 1909 года, когда Косте было полгода, а еще через полгода ожидался Миша, отец Сергей довел пасеку до двадцати пяти ульев. Целая куча липовых колод, в течение нескольких лет медленно превращавшаяся в труху в углу двора, показывала, сколько трудов и затрат требовалось для этого.

Отец Сергей покупал в соседних селах пчел в колодных ульях, перегонял их в рамочные, соединял, чтобы были сильнее, по две-три семьи в одну, подкармливал сахаром, выписывал с Кавказа породистых маток.

Когда с лугов сошла вода и попросохли дороги, он договорился со стариком-пчеловодом Евдокимом Лукьяновичем, и они вместе вывезли своих пчел версты за четыре от села, в займище, где буйно цвел терн и что ни дальше, то сильнее расцветали травы. Пчельник разместили на полянке недалеко от маленького озерца, питаемого родничком, а небольшая караулка с плетеными стенами прижалась около самых зарослей терновника, напоминая сказочную Сиреневую рощу: как там, так и тут невозможно было удержаться и не сорвать цветущей ветки, а когда она была сорвана, рядом оказывалась другая, еще пышнее и красивее, дальше – третья и т. д., до тех пор, пока в руках не оказывался громадный ворох цветов, платье было порвано, а лицо исцарапано. Конечно, пропасть совсем, как в Сиреневой роще, здесь было невозможно,

но все-таки человек, не привыкший ориентироваться в лесу, мог сбиться с дороги и попасть в довольно неприятное положение. Поэтому Евгения Викторовна, когда они всей семьей приезжали на пчельник, не отпускала от себя Соню и сама старалась держаться поближе к полянке. Так было и весной, и летом, когда кусты были осыпаны целыми вязущими, но тем не менее привлекательными ягодами. Матушка с Соней и приезжими из Самары гостями гуляли, рвали цвет, пили чай с терном и только что вынутым медом и возвращались, вполне довольные прогулкой. Сам отец Сергей бывал на пчельнике гораздо чаще, чаще пешком, чем на лошади, и оставался подолгу, выполняя необходимые работы и приучая к ним компаньона.

– Ведь он как ведет пчеловодное хозяйство, – говорил отец Сергей. – Конечно, не как при Адаме, а как при Ное. Когда после потопа Ной посадил виноградник, там у него, конечно, были и пчелы, и знал он о них немного больше, чем Адам. Вот и Евдоким Лукьянович хозяйничает, как Ной.

И все-таки на этого «Ноя» пришлось бросить пасеку надолго и в самый ответственный момент. Когда болезнь Кости раньше времени погнала отца Сергия в Самару, он надеялся, что вернется достаточно рано и успеет подготовить пчел к зиме. Но епархиальный съезд, на который он выбирался бессменным депутатом в течение нескольких лет, в этом году затянулся, и вернулся отец Сергей только тогда, когда ульи стояли в зимовке. Это оказалось роковым. Его неопытный заместитель немного пожадничал, отбирая осенью мед, оставив на зиму слишком маленький запас, и в результате весной отцу Сергию из двадцати пяти ульев едва удалось собрать три жизнеспособных – остальные погибли от голода.

Три улья были поставлены на огороде, куда выходили окна кухни, покупка и перегонка пчел из колод возобновилась, а караулку в лесу забросили. Только в половине лета отец Сергей, вспомнив, что там остались необходимые ножи и еще кое-что из местного инвентаря, решил сходить за ними. И тут-то вступилась пятилетняя Соня и предъявила свои требования:

- Папа, возьми меня с собой!
- Куда ты, я пешком пойду.
- Все равно, возьми!

* * *

Отец Сергей горячо любил детей и, едва они начали подрастать, таскал их с собой везде, где было можно. Если он ехал куда-нибудь в поле, из-за бортов его брички непременно выглядывало несколько детских головенок – свои дети и их приятели.

– Батюшка, продаешь горшки? – спрашивали встречные.

– Непродажные, непроданные! – наперебой кричали «горшки», но отец Сергей иногда начинал торговаться.

«Покупатели» осматривали «горшки», стучали пальцами по лбу и затылку, чтобы определить, не худой ли, находили где-нибудь дырку и отказывались. Это было и весело, и немного жутко. Правда, Миша первые годы не выдерживал долго. Он засыпал иногда еще в селе, а Соне и Косте приходилось вдвоем отбиваться от нападения.

По мере того как дети подрастали, поездки для них становились все интереснее. Кроме удовольствия от самого процесса езды и от новых картин природы можно еще было подержать кнут или кончик вожжей; потом на ровных пустынных участках дороги вожжи совсем переходили в руки одного из молодых кучеров по очереди, а то и сразу двоим: одному правая вожжа, другому левая. Отцу оставалось только умерять нетерпение третьего, временно оставшегося не у дел, делать методические указания молодым кучерам и быть готовым каждую минуту взять инициативу (то есть вожжи) в свои руки. Но такие секунды становились все реже и реже. Правда, и лошадей отец Сергей старался приобретать самых спокойных.

Пешие прогулки, по большей части с бреднем, на озера, к омутам небольшой речки Чагры, а то и на Волгу, берег которой находился по прямому направлению, верстах в шестивосьми от села, отец Сергей долгое время де лал один, то есть с компаньонами, но без детей. Иногда он ходил и совсем один, изучал, какие растения и на каком расстоянии от дома охотнее посещают пчелы. Для этого он массаами окрашивал их в какой-нибудь яркий цвет, а потом ходил и смотрел, где больше видно окрашенных пчел, и, если располагал свободным временем, готов был бродить по займищу целый день. Домой он возвращался уже к вечеру, измученный, довольный, с новыми замыслами, которые так легко рождались и обдумывались наедине с природой, и непременно с целым веником полевых цветов, вырванных часто вместе с корнями.

– Это я от жены откупался, – смеялся он впоследствии, вспоминая об этих цветах. – Запоздаю, чувствую, что она беспокоится и пилить будет, надергаю побольше цветов, она и растает, и гроза минует.

Но, кажется, собирая цветы, на что тоже требовалось немало времени, он думал не только об удовольствии, которое доставит Еничке его подарок (и, конечно, не о «грозе»). Ему и самому нравилось это занятие, иначе он не стал бы, чуть не ползком, исследовать непролазные чащи кустарников с еще голыми после недавнего половодья нижними ветками, в надежде найти притаившийся в самой глубине темно-лиловый ирис. Он приносил немало и их, и других нечасто встречающихся цветов, а для быстро вянущих водяных лилий даже приносил в маленьком ведерке их родной болотной воды с илом.

– Как много! – ахала матушка, когда он весело вручал ей всю охапку, и опасно косилась на приставшие к корням комья земли и на длинные мокрые трубчатые стебли водяных лилий. – Сережа, неужели нельзя было рвать цветы, а не дергать с корнями?

– Не выходит. Заберу их в горсть, хочу сорвать, а они выдергиваются. По одному? Да сколько же времени понадобится, чтобы собрать такой букет по одному цветку? И нести неудобно, и не знаю я, какой длины рвать. Обрезай сама, как хочешь!

Еничка отбирала лучшие цветы, вазочки на фисгармонии и на трюмо, наливала воды в пару банок из-под варенья, в которые едва можно было втиснуть остальные. Соня приносила ножницы, и они усаживались на высоком крыльце во дворе делать букеты.

А один раз в самой большой банке поселилась целая коллекция моллюсков – речных перловиц. Дети вместе с отцом, а иногда и с матерью, наблюдали, как они то лежали, полузарывшись в насыпанный на дно песок, то, выставив между створок белый отросток – «ногу», медленно передвигались, оставляя на песке извилистую дорожку, то, просто приоткрыв створки, «дышали», забирая и выталкивая воду. Иногда кто-нибудь из наблюдателей пропускал в щель между створками соломинку и щекотал белевшее там тело моллюска – перловица «чихала», выпустив фонтанчик воды, и быстро, прищемив соломинку, захлопывала створки.

* * *

Отцовская любовь к долгим прогулкам передалась и детям. В одиннадцать-двенадцать лет они уже бродили, в одиночку или со сверстниками, по лесу и полям. Еничка сначала немного беспокоилась, но она и сама выросла в селе, среди природы, и муж настаивал на предоставлении детям самостоятельности. Поэтому она ничего не возражала, даже если эти путешествия происходили в осеннюю или весеннюю ростепель и дети приходи ли мокрые выше колен, с полными галошами жидкой грязи, перемешанной со снегом. В этих случаях она только требовала, чтобы, возвратившись, дети надевали сухую обувь, мыли грязную, а мокрые чулки полоскали и клали сушить в горячую печурку.

Но это было уже порядочно спустя, их самостоятельность развивалась постепенно, начинаясь с недалеких прогулок по селу в сопровождении матери или отца. Со временем у отца Сергея выработался опыт в обращении с детьми и довольно правильное представление об их

физических силах. Тогда же, когда Соня с детской самоуверенностью говорила: «Пойду с тобой пешком», – этого опыта еще не было. Наоборот, как большинство молодых отцов (ему еще не исполнилось двадцати восьми лет), всегда желающих, чтобы их дети поскорее росли, он склонен был переоценивать ее силы. Поэтому он не отказал ей категорически, а вступил в переговоры:

– А на руки не будешь проситься? Ты уже большая, тебя нести тяжело, да у меня и руки будут заняты.

– Не буду проситься, пойду сама.

– Ну так давай у мамы спросим!

– Неужели ты серьезно хочешь взять ее с собой, Сережа? – удивилась матушка. – Измучишься!

– Она обещает не проситься на руки, – повторил отец Сергей самый сильный аргумент.

– Да, обещаю. Мамочка, пусти! – просила и девочка.

– Ну, что с вами поделаешь, оба вы, наверное, немного с ума сошли. Соне еще прости-тельно, она маленькая, а ты...

– А мне, может быть, и сходить-то не с чего, – весело отпарировал муж. – Ну, Соня, где твой платок, тащи его сюда, мама сейчас даст нам на дорогу чего-нибудь поесть, и пойдем. Живо!

Дорога оказалась труднее, чем думала девочка. Солнце припекало довольно сильно, маленьким ножкам нужно было сделать очень много шагов еще в селе и еще гораздо больше по лугам, прежде чем они добрались до поросшей травой дороги среди кустарника, тоже плохо защищавшего от полуденного солнца. Сначала Соня не замечала трудностей. Ее внимание привлекали то пестрые цветы, колышущиеся в траве, то не менее пестрая бабочка или бирюзовое коромысло⁷, то внезапно выпорхнувшая из травы птичка, то мохнатый шмель, с низким гудением перелетавший с цветка на цветок. Однако постепенно все это надоело, и все сильнее начинала чувствоваться и жара, и усталость, и жажда. Об усталости приходилось молчать, хотя шаги становились все меньше и медленнее и под конец ноги совсем заплетались. Впрочем, девочка надеялась, что папа ничего не замечает, и держалась, насколько возможно, стойко. Другое дело жажда. Тут уговора не было, а солнце жгло, а вдоль дороги тянулось узкое, поросшее осокой болотце, на середине которого соблазнительно поблескивала вода. Но достать ее было невозможно; берега и дно болотца покрывал вязкий ил, в котором тонули ноги и чистая на вид вода мутилась гораздо дальше, чем можно было достать рукой. Да и что пользы, если бы отец Сергей даже сумел достать эту воду? Сам-то он еще мог бы напиться, но Соне в пригоршне воды не натаскаться. До караулки ли тут, со всем, что в ней еще оставалось! Прежде нужно найти воду, которую можно пить!

– погоди, Соня, вот тут, недалеко от пчельника, был родничок. Евдоким брал из него воду, – вспомнил отец Сергей, раздвинув густые заросли терновника, вышел на маленькую полянку. Увы, родничка не было. Во время половодья его затянуло песком.

Отец Сергей немного постоял в задумчивости. Соня сидела под кустом недалеко от него, и по ее покрасневшемуся пыльному личику и запекшимся губкам было видно, что, если эта последняя надежда изменит, она не выдержит и расплачется. «Другого ничего не придумаешь, придется рыть колодезь», – сказал он ей.

Колодезь! Соня даже про усталость забыла и, перебравшись поближе к отцу, с интересом наблюдала, как он взрыхлял перочинным ножом влажную землю в ямке и выгребал ее руками. Земля постепенно становилась все мокрее и мокрее. Некоторое время отец Сергей выбрасывал из довольно глубокой уже ямы сантиметров тридцать в диаметре только жидкую грязь, наконец встал и вытер руки о траву.

⁷ Коромысло синее – крупная стрекоза.

– Теперь нужно подождать, пока вода устоится. А мы пока пойдем и поищем, чем же мы будем пить, – предложил он дочери.

Дети быстро утомляются, но и быстро отдыхают, особенно если их внимание привлекло что-нибудь интересное. Бродить по кустам Соня отправилась так, словно и не было только что пройденных четырех верст. Им повезло. Скоро отец Сергей сунул руку в кучу нанесенного половодьем мусора и достал оттуда длинное прямое корневище с утолщением, в мужской кулак величиной, на конце. В середине утолщения была небольшая ямка – дупло, а когда отец Сергей очистил его ножом и обрезал мешавшие кругом сучки и корни, у них оказался прекрасный черпак, точно длинная тонкая рука со сложенной горсточкой ладонью. Правда, там помещалось всего два-три глотка воды, но в том ли дело! Зато пить ее необыкновенно приятно.

А потом папа придумал другое, и опять очень интересное. Оказалось, что во время возни с колодцем он потерял ключ от караулки, и ему пришлось выдирать маленькое, слабо укрепленное в плетеной стенке оконце и лезть внутрь через окно, словно разбойнику. А Соня сидела около на траве и смеялась. В караулке папа нашел кусок клеенки, которой покрывают ульи, и, свернув ее фунтиком, опять доставал воду, на этот раз много, и они опять пили, и закусывали, и еще пили на дорогу, хотя Соня, если бы была ее воля, не ушла бы отсюда до самого вечера. Она была так поглощена всеми этими событиями, что даже не заметила, взял ли папа из караулки еще что-нибудь, кроме клеенки. Зато хорошо запомнилось, что палку с черпаком на конце он взял, и шел, опираясь на нее, и говорил, что так идти гораздо легче. Он и Соне вырезал палочку по ее росту и учил, как нужно опираться и шагать шире и ровнее. Это был первый из уроков ходьбы, которые ей потом такгодились.

Кажется, на обратном пути они несколько раз отдыхали, но это неважно; Соня строго исполняла свое обещание и не жаловалась на усталость, а если папа сам садился, это его дело. Войдя во двор, папа мимоходом бросил свою палку на кучу полусгнивших колодных ульев и, не останавливаясь, прошел в дом. Соня бросила свою туда же, хотя ей пришлось подойти для этого гораздо ближе, и медленным ровным шагом отправилась следом за отцом. В этот момент она сознавала себя почти что взрослой.

Глава 7 Трудное лето

Тяжело досталось Евгении Викторовне лето 1910 года. К хлопотам, связанным с приходом многочисленных родственников, она привыкла, считала их в порядке вещей и не тяготилась ими. Но среди лета вдруг заболела Соня. У нее началось рожистое воспаление на ноге, и девочка, весной бодро путешествовавшая с отцом на пчельник, лежала как пласт на постели или сидела, положив больную ногу на подушку, крича и плача при всякой попытке вытянуть ее.

Выздоровев, она разучилась ходить и долгое время только быстро-быстро ползала на четвереньках из комнаты в сени, на кухню, на крыльцо и с удовольствием поползла бы и по двору, если бы за ней не следили и не переносили на большую кучу песка, где копался маленький Костя. В самый разгар ее болезни захворал и Костя: на шейке за ухом у него образовался большой нарыв. Мальчик плакал от боли дни и ночи, пока приехавший фельдшер не вскрыл гнойник. Истомившийся ребенок уснул, не дождавшись конца перевязки, но матери отдыхать было некогда. Даже имея няnek, нелегко справиться с тремя детьми, из которых ни один не ходит. Слабенький, рахитичный Костя начал ходить только почти с двух лет, одновременно с Мишей, бывшим моложе его на тринадцать месяцев, и всю жизнь отставал от него в физическом развитии.

В таких условиях особенно обременительными являлись, если можно так выразиться, «официальные» гости, и, казалось, что они приезжали особенно часто.

То заедет благочинный проверить ведение прихода-расходных и метрических книг и летописи, то епархиальный наблюдатель над церковно-приходскими школами, то еще кто-нибудь. Ближе к осени в Острой Луке состоялся окружной съезд духовенства. Этот съезд назначался ежегодно, по очереди в одном из двадцати с лишним сел округа, и, как нарочно, именно в этом году очередь пала на Острую Луку.

Не успели забыть о суете, связанной с кормлением двадцати малознакомых гостей, как почта принесла новое известие: едут миссионеры, чтобы провести в селе серию бесед.

«Еничка даже заплакала, когда услышала об этом, – писал в своем дневнике отец Сергей. – Так она измучилась за лето. Я советовал ей не хлопотать особенно, а готовить то, что обыкновенно готовится для себя, но она и слышать не хочет».

Такой разговор поднимался уже не в первый раз, и однажды, когда отец Сергей посоветовал подавать гостям то же, что и себе: щи так щи, кашу так кашу, – одна соседняя матушка возразила с неудовольствием: «Щи и кашу мы и дома едим, а в гостях хочется чего-нибудь повкуснее». Потому-то Евгения Викторовна и волновалась. Муж посоветовал ей пригласить побольше помощников. Но и сам понимал, что все эти помощники только для черной работы, а основное в таких случаях хозяйка всегда возьмет на себя, но чем же еще он мог помочь?

Ехали новый епархиальный миссионер отец Сергей Пряхин и его помощник Лев Иванович Донсков. Их противником должен быть известный на всю Россию беспоповский⁸ начетчик Фома Лаврович Кулаков. Все знавшие Пряхина и прежнего миссионера, отца Димитрия Александрова, единогласно подтверждали, что Александров имел гораздо больше знаний и, пожалуй, был красноречивее Пряхина, но его речь отличалась книжными оборотами и была суховата, а Пряхин не вдавался в большие глубины, говорил проще, живее, понятнее для своих простых слушателей; его любили слушать. Донскова мало кто знал, но говорили, что в этом отношении он идет еще дальше Пряхина. Церковь, где происходили беседы, никогда не пустовала, а в этом году она просто ломилась от желавших послушать беседы.

Как и всегда, на амвоне стоял стол для очередного оратора и скамья для духовенства; кроме хозяина и миссионеров, были еще несколько приезжих из соседних сел, все в парадном виде, в рясах, с крестами на груди. Фома Лаврович Кулаков, человек лет сорока пяти, сугубо раскольничьего вида, с подстриженными в кружок волосами и в тончайшего сукна поддевке, сидел со своими приверженцами и помощниками на ближайшей к амвону скамье, перед которой ему был поставлен еще другой стол, заваленный привезенными им старопечатными книгами. Но Фома Лаврович надеялся не столько на эти книги, сколько на свою смекалку и острый язычок. Он в совершенстве владел искусством раскольничьих начетчиков запутывать неопытных собеседников в дебрях схоластических споров. С более опытными, отмахнувшись, как от несущественного, от всех опасных вопросов, он напирал на излюбленные старообрядцами мелочи: имя Христово исказили, пишут Иисус вместо Исус, «щепотью» крестятся, табак курят; ловко играл острыми и язвительными словечками. Одной из любимых его фраз было: «Прежде разбойников вешали, а теперь кресты повесили на разбойников». Его сторонники поддерживали его одобрительным гулом, а то и гоготом.

На этот раз одним из основных аргументов Кулакова были две картинки, изображающие священников за совершением литургии. В этих картинках, до подробностей сходных между собой, была, однако, громадная для старообрядцев разница: один из священников служил на семи просфорах и крестился двуперсто, а другой – на пяти и складывал для крестного знамения три пальца. Соответственно с этим на первой картинке священника благословлял ангел, а на второй – сзади его стоял дьявол. Вскользь ответив на положения открывавшего беседу

⁸ Беспоповство – одно из основных направлений старообрядчества, возникло в конце XVII в. Отсутствие в расколе архиереев привело со временем к прекращению священства. Не признавая священников, переходящих из Православия, и считая, что наступили последние времена, беспоповцы живут без священства и большинства таинств.

Пряхина, Фома Лаврович долго, со смаком демонстрировал и объяснял слушателям обе картинки и наконец сел, под довольное перешептывание своих сторонников. К ораторскому столу, не торопясь, подошел Лев Иванович Донсков. В мешковатом пиджачке, со спокойными, неторопливыми движениями, он производил впечатление мужичка-вахлачка и не внушал опасений противникам. Как оказалось, он, как и Кулаков, не имел намерения углубляться в старые писания.

– Фома Лаврович, дай-ка мне картинки-то, – медленно и внятно произнес он, протягивая руку.

Как и Кулаков, он высоко поднял картинку, чтобы всем было видно, и начал не спеша разбирать их.

– Хорошие картинки, очень хорошие, – мягким, певучим голосом, напирая на «о», говорил он, поглядывая то на одну, то на другую. – Только не пойму я, что ты тут, Фома Лаврович, нашел обидного для Православной Церкви. На этой вот картинке священник крестится тремя пальцами. Три пальца сложил вместе в честь Святой Троицы, а два пригнул в знак двух естеств у Иисуса – Божественного и человеческого. Очень хорошо! Так и мы крестимся. А на этой картинке он два пальца поднял, а три пригнул, – вид другой, а значение то же самое. У нас и так многие крестятся, мы никому не запрещаем, кто как привык. А у вас, Фома Лаврович, как священник крестится? – вдруг спросил он.

Фома Лаврович немного опустил голову и не ответил. Беспоповцы потому так и называются, что не имеют священников, и, следовательно, у них не совершается и литургия.

– Теперь на этой картинке, – продолжал Донсков, – священник совершает службу на семи просфорах, в знак чудесного насыщения четырех тысяч людей семью хлебами. И у нас так служат в единоверческих⁹ церквях. Вот отец Андрей так служит, и крестится двуперстно, – указал он на отца Андрея Букашкина, единоверческого священника из соседнего села Теликовка. – А здесь – служат на пяти просфорах в честь другого чуда, когда Спаситель пятью хлебами пять тысяч мужей насытил. Тоже чудо, да еще больше. Там на четыре тысячи семь хлебов, тут пять на пять тысяч. Поэтому мы, православные, на пяти хлебах и служим. И на той картинке ангел благословляет – понятно! А на этой диавол – не может к святыне приступить и трепещет. Тоже хорошо! А у вас, Фома Лаврович, на скольких просфорах служат? Фома Лаврович, да что же ты не отвечаешь? Где же ты, Фома Лаврович? Не вижу! Фо-о-ма Ла-авры-ыч! (Кстати, впоследствии Кулаков перешел к беглопоповцам и разъезжал по беседам уже от их имени. Там ему не приходилось отвечать хоть на этот тяжелый вопрос.)

Беседа еще заканчивалась, когда ближайший сосед и кум отца Сергия отец Григорий Смирнов вышел из церкви и пошел к квартире С-вых. Отец Григорий, как и полагалось по его фамилии, держался всегда ровно и спо койно, в приходе никаких новшеств не заводил, на съездах не горячился, на выборные должности не выдвигался – и все-таки слыл беспокойным. Может быть, потому, что высказывался хоть редко, да едко, попадая своими острыми замечаниями кому хотел не в бровь, а в глаз. Например, года два назад, получивши, правда, с большим опозданием против возможного минимального срока (три года) вторую священническую награду – скуфью, он, в присутствии благочинного, сумел так высказать свое мнение о произволе в представлениях к наградам, что благочинный обиделся и, пока служил, не представлял строптивного батюшку к следующей награде.

Все знавшие его, особенно отец Сергей, любили рассказывать о его маленьком, но характерном столкновении с мадам Маттэрн, женой земского начальника, квартира которого находилась в том же волостном селе Березовая Лука, где служил отец Григорий. Случилось это осенью, в день начала ученья в школах. Отец Григорий, по обыкновению, ровно в восемь часов

⁹ Единоверие – вид воссоединения русских старообрядцев-раскольников с Православной Церковью, предполагающий подчинение православному архиерею при сохранении старого обряда.

утра отслужил молебен перед началом ученья в церковной школе и пришел в земскую, попечительницей которой считалась первая дама волости, мадам Маттэрн. Там также все уже собрались, и ученики с родителями, и учителя, не было только попечительницы. Подождав с полчаса, решили послать к ней, напомнить. Посланный вернулся с лаконическим ответом: спала, скоро встанет и придет. Через новые полчаса послали вторично. Ответ получился уже раздраженный: она же сказала, чтобы подождали, что она скоро будет. Подождали еще полчаса, еще лишние десять минут; ребятишки истомились, взрослые тоже, и решили начать молебен. Мадам Маттэрн явилась разряженная, со своими гостями, когда дети уже сидели на партах, ожидая начала уроков, а отец Григорий, взяв шляпу и палку, направлялся к выходу. Волостная гранддама недовольно поморщила носик и ядовито осведомилась, почему не потрудились подождать ее, ведь она говорила, что придет. Отец Григорий довольно спокойно возразил, что ее ждали час сорок минут, что дети устали ждать, а их родители не могли терять целый рабочий день в эту еще горячую рабочую пору. Мадам Маттэрн слушала его полуотвернувшись и рассматривая в лорнет какую-то неизвестную точку на стене, потом, также вполборота, презрительно бросила:

– Свинья останется свиньей!

– И будет заставлять ждать себя час сорок минут, – громко и отдельно отчеканил отец Григорий, подчеркивая каждый слог ударом об пол своей тяжелой палки. Потом повернулся и вышел, не слушая раздавшегося сзади истерического визга.

Маттэрн потом грозил, что добьется неприятностей для дерзкого священника, ездил к архиерею, но дело кончилось ничем, только матушка поволновалась, а за батюшкой окончательно утвердилась репутация беспокойного.

Когда отец Григорий, войдя в прихожую С-вых и сняв шляпу, расчесывал свои волнистые, слегка рыжеватые волосы, из столовой доносился звон расставляемой к ужину посуды и плачущий голосок Кости, жалующегося матери:

– Мимика, паника!

– Что это у вас за зашифрованные разговоры? – спросил отец Григорий, здороваясь с хозяйкой. – Что за паника? Кажется, наоборот, все очень спокойно. И при чем тут мимика?

– «Мимика» – это значит «Мишенька», – ответила Евгения Викторовна, вытирая заплаканное личико Кости, – «паника» – просто «пряник». Миша, ведь я тебе дала печенье, зачем же ты отнимаешь у Кости? Отдай!

Миша недовольно засопел, протянул ручонку и покорно отдал награбленное. Отец Григорий обернулся к нему:

– Что это ты воюешь, крестник? А я думал, что ты умный, привез тебе конфетку. Не будешь больше обижать Костю?

Миша отрицательно мотнул головой и потянулся за подарком. «Дай и Косте попробовать», – сказала матушка, помогая ему снять бумажку, и Миша, засопев, на этот раз от усердия, ткнул конфетку прямо в рот брата. На улице раздались голоса и шаги. Возвращались с беседы.

Ужинали с аппетитом, оживленно обсуждая различные моменты беседы. Только отец Андрей Букашкин после супа недовольно окинул взглядом разноцветные бутылки с водами и почти обиженно спросил:

– Что же, и по этому случаю ничего покрепче не полагается?

– Ни по этому, ни по какому другому, – отозвался отец Сергей, а Евгения Викторовна наморщила свой чистый белый лоб и слегка сдвинула темные, словно нарисованные, брови. Она слышала подобные замечания еще в детстве, при жизни отца, тоже никогда не имевшего в доме крепких напитков, но никогда не могла привыкнуть к такой бесцеремонности.

Отцу Андрею пришлось смириться. Поддерживая непомерно широкий рукав рясы, он потянулся к блюду, положил себе на тарелку кусок заливного поросенка и запил нежное, тающее во рту мясо сначала вишневым, а потом апельсиновым соусом.

– Противораскольничья миссия у нас в епархии поставлена хорошо, – говорил в это время отец Владимир Аристовский, самый дальний из гостей, приехавший за пятнадцать верст из степного села Брыковка. – У вас есть и опыт, и люди для бесед. А нам, имеющим дело с сектантами, приходится брести ощупью, самим добывать для себя материал и вырабатывать тактику. Совершенно не у кого поучиться.

– Тактика у нас тоже у каждого своя, – ответил ему Пряхин, расправляя усы и осторожно подкладывая на тарелку новую порцию горчицы. – Сравните, как говорит Александров, или вот наш новый сотрудник Лев Иванович, или Кургаев, которого вы, наверное, тоже знаете, ведь он почти из этих мест. У каждого свое, и у каждого находятся ценители, которым его манера особенно нравится. И материал каждый подбирает сам. Правда, теперь у нас имеется книжечка Александрова, которой мы пользуемся как пособием, но ведь она просто объединяет материал его прежних бесед. Попробуйте-ка вы поработать столько, сколько он, да запишите, что было интересного в каждой беседе, и посмотрите, может быть, еще лучше получится.

Ему откликнулось сразу несколько голосов. Пряхин всегда удивительно умел одним словом заечь людей, возбудить в них желание работать. Особенно испытывал это на себе отец Сергей, к которому, как к интересующемуся миссией, Пряхин часто приезжал проводить беседы.

– Хорошо вам говорить, – наконец ухитрился вставить слово Аристовский. – Мы-то когда еще что напишем или нет, а время идет. Отец Димитрий потому и книжечку написал, что всей душой делу отдавался, да и новые ваши, по-моему, тоже такие... хоть и не полагается в глаза хвалить, – шутливо обернулся он к Пряхину, – да мне вы не начальство. А наш Михаил Маркович, что греха таить, леноват. Все ссылается, что у нас практическая подготовка есть, в семинарии беседы с молоканами проводили. Да ведь когда проводили-то! Только при архимандрите Вениамине¹⁰ со слепым молоканином-начетчиком беседовали... как его... забыл...

– Это который архимандрита-то экзаменовал, сколько в Евангелии глав, – засмеялся отец Евлампий, высокий, худой батюшка с козлиной бородкой.

– Как так?

– А вот так, не знаете? А вот отец Сергей знает.

– Знаю, присутствовал, – улыбнулся хозяин. – Да уж рассказывайте! – Вот-вот, и я присутствовал, сам вопросы задавал, – продолжал отец Евлампий. – Все мы, семинаристы, после беседы обступили старика и задаем вопросы, один то, другой другое. И Вениамин тут же: заметит, что семинаристы что-то упустили, и сам вопрос задаст, а немного погодя еще... да еще... да все по самым слабым местам бьет. Старик его голос приметил, думал, что это тоже семинарист, хотел его осрамить да и прицепился к нему:

– Что ты все лезешь? Много ли сам-то знаешь? Ну-ка, скажи, в Евангелии от Марка сколько глав?

– Шестнадцать.

– А от Иоанна?

– Двадцать одна.

– А от Матфея?

– Двадцать восемь.

– Ну, ладно, это-то ты знаешь.

Вениамин (Казанский, 1873–1922), митрополит Петроградский и Гдовский. Арестован в 1922 г. в ходе кампании по изъятию церковных ценностей и расстрелян. Прославлен в 1992 г. в лике новомучеников.

– Дедушка! – говорим мы потом. – Ты знаешь, кого ты спрашивал? Ведь это ректор. – Да ну? Что же вы мне тогда не сказали. Поохотали мы тогда.

¹⁰ Впоследствии митрополит Петроградский. – *Авт.*

– Подождите-ка, отец Владимир, – остановил отец Сергей Аристовского, заметив, что тот поднялся, собираясь уезжать. – Что это за Гавриша у вас там завелся? Наши женщины что-то о нем много толковать начали. А мне он подозрителен.

– И мне тоже, – ответил отец Владимир, снова садясь. – И ведь он не только появился, а давно у нас, гораздо раньше меня. Я его и так и этак прошупывал – не поддается. В церковь ходит аккуратнее всех. Крест кладет не хуже Муромца, по-писаному, а поклон кладет поученому. Посмотреть издали – самый добропорядочный прихожанин. А по кое-каким мелочам чувствую – самый настоящий хлыст¹¹. Эти хлысты ведь тем и отличаются, что церковные обряды выполняют, чтобы их не подозревали. А не придерешься, изворотливый, как уж. Собрания у него какие-то. И из других сел приезжают. Вот видите, и до ваших добрался. Спрашивал я этих собиральщиков, говорят, ничего особенного, Писание им объясняет, канты поют. А как объясняет и что поют, толком рассказать не сумели. Да и то сказать – если их только увлекают, им хлысты и самим лишнего не покажут, все будет только «от Писания». А если они много знают, то связаны всякими клятвами и ничего не скажут. Вы за своими хорошенько следите. Ну, прощайте, отцы! Вам хорошо, недалеко ехать, а моему Карему придется потрудиться.

Глава 8 Искушения

– Ах!

Нужно же было матушке, собираясь в гости, бросить на комод футляр от брошки! Нужно же было черноглазой бойкой Варе найти его и принести туда, где сидели Соня и вторая нянька Анюта! Если бы футляр не лежал на виду, много спокойнее было бы на душе у девочек в этот вечер. Рассматриванием футляра занялись все, даже тихая Анюта не вытерпела и повертела его в руках. Осмотрели внутри и снаружи, потрогали запор, закрыли... а открыть не смогли. Старшие девочки неудачно попробовали несколько раз, потом Анюта протянула футляр Соне:

– Соня, открой!

Соне не хотелось признаться, что она не знает, как взяться за дело. Она неловко подергала крышку, просунула сначала ноготок, а потом и весь пальчик в увеличившуюся щелку в уголке.

– Сильнее! – поощрила Варя.

И вот тут-то дружное «ах!» вырвалось у всех трех: крышка открылась, и тоненькая проволочка со звоном упала на стол. Белая атласная обивка крышки некрасиво оттопырилась.

– Ах, Соня, что ты наделала!

Соня-то Соня, а все-таки у обеих старших девочек было беспокойно на душе. Им самим было ясно, что они, четырнадцатилетние, должны были бы удерживать пятилетнюю Соню, а не подбивать ее на шалость. Попытались исправить дело. Кому-то удалось вставить проволочку на старое место так, чтобы она не вываливалась сразу. Футляр осторожно отнесли на комод.

– Может быть, матушка не заметит! Но она заметила. Утром Соня вдруг услышала давно ожидаемый и все-таки как будто неожиданный вопрос:

– Соня, ты не знаешь, кто сломал футляр от брошки?

Если бы не было вчерашних волнений и попыток скрыть «преступление», вырвавшихся его в Сониных глазах во что-то чудовищное и перепутавших ее маленькие нравственные понятия, она, вероятно, хоть и с тяжелым сердцем, созналась бы. Но теперь она вспыхнула, зачем-то закурила уголок настольной клеенки и неожиданно для себя ответила, глядя в дальний угол:

– Варя.

¹¹ Хлысты – религиозная секта (название от обряда самобичевания), возникшая в России в конце XVII в. Считают возможным прямое общение со «святым духом» через его воплощение в праведниках. Не признают священства, но допускают посещение православных богослужений.

Мама как-то странно посмотрела на нее и ничего не сказала. Она возобновила разговор уже после обеда, когда сидела в своем уголке у стола и штопала чулки, а Соня пристроилась около нее с рисованием. На этот раз вопрос прозвучал действительно неожиданно:

– Так кто же сломал футляр?

Случайно или намеренно, мама задала этот вопрос, когда Варя мыла пол в столовой. Соня покраснела еще сильнее, чем в первый раз, и ответила чуть слышно:

– Анюта.

– Анюта? – переспросила мама. – А в прошлый раз ты сказала: Варя. Так кто же все-таки? Варя или Анюта? Или, может быть, еще кто?

Соня молчала. Мама подождала несколько времени и переспросила настойчиво: «Ну, я жду?»

Молчание продолжалось долго, так долго, что Варя, что-то очень усердно вымывавшая грязь изо всех щелочек под столом, вынуждена была кончить и уйти. И во все время мама не отрывала от девочки пытливого взгляда. Потом еще раз, еще настойчивее, повторила:

– Долго я буду ждать?

Казалось, невозможно было покраснеть больше, но теперь лицо Сони сделалось пунцовым. Она еще ниже опустила голову и прошептала: «Варя».

– Опять Варя? А не Анюта?

– Нет, Варя. Она принесла коробочку, а Анюта...

– Что Анюта? Молчание...

– Хуже всего тут, – заговорила опять мама, и голос ее задрожал, – хуже всего, что ты обманываешь. Ведь ты прекрасно знаешь, что я не накажу тебя, если ты сознаешься в том, что сделала. А ты обманываешь, да еще сваливаешь вину на других. Хуже этого уж и придумать ничего нельзя. Я никогда бы не подумала, что ты можешь так сделать. И мне очень грустно.

И мама заплакала.

– Mamочка, прости, я больше не буду...

Стандартная фраза, которую столько раз повторяет каждый ребенок и так часто немедленно же забывает. Но сейчас в голосе девочки звучала безусловная искренность.

– Что не будешь? – спросила Евгения Викторовна.

– Обманывать... и вот так говорить.

Евгения Викторовна подняла за подбородок заплаканное личико и заглянула в глаза дочурки:

– Кто же сломал коробочку?

– Я... – Крупные слезы, покотившиеся из глаз Сони, заслонили весь мир, и она не видела, что у мамы слезы совершенно высохли. Нет, не высохли, ресницы были еще мокрые, но серые глаза ее уже сияли счастьем.

– Вот так и надо было сразу сказать. Ведь ты же понимаешь, что я всегда узнаю, если ты говоришь неправду.

(В сознании Сони это воспринималось так, что мама все знает и от нее ничего не скроешь.) Никогда нельзя обманывать. Разве тебе было бы приятно, если бы я побранила Варю за то, что сделала ты?

– Не-ет!

– Ну, хорошо. Теперь перестань плакать, поцелуй меня, и так договоримся, что ты всегда будешь говорить правду.

* * *

К сумеркам все было забыто. Евгения Викторовна сидела за работой и тихонько напевала несильным, мягким голоском:

В хижину бедную, Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь.
Скоро ли мать расцелую родимую,
С добрым отцом обоймусь...
...Сколько, ко всякому горю привычная,
Мать моя слез пролила!
Если б отсюда она, горемычная.
Речь мою слышать могла.
Я б закричала, пускай не печалится,
Жизнь для меня не страшна.
Милая матушка, дочь твоя счастлива,
Крепко любима она.

Евгения Викторовна стеснялась петь при посторонних и при муже, но за работой, наедине (дети не считались), пела охотно. Некоторые вещи из своего репертуара она любила за красивую мелодию, другие за легкость исполнения, но «Хижину бедную» запевала только тогда, когда была в хорошем настроении. Последние строки, которые она повторяла два раза, звучали как выражение ее собственных чувств.

Соня сидела в уголке со своими делами и внимательно посматривала на мать. Наконец встала и, подойдя к Евгении Викторовне, облокотилась на ее колени:

– Мама, ты ведь меня простила?

– Простила, – прервав пение, ответила та.

– Совсем, совсем простила?

– Ну, конечно, совсем. В чем дело, лисанька?

– Расскажи стихи!

– Какие?

– Ну, всякие... и про дядюшку Якова, и про Ермила, и про этого, которого мальчик обманул.

– Про Бэду?

– Да, про него.

Соня пододвинула стул вплотную к маминому и приготовилась слушать. Евгения Викторовна заговорила:

Был вечер. В одежде, измятой ветрами,
Пустынной тропой шел Бэда слепой.
На мальчика он опирался рукой,
По камням ступая босыми ногами.
И было все глухо и дико кругом;
Одни только сосны росли вековые.
Одни только скалы торчали седые,
Косматым и влажным покрытые мхом.
Но мальчик устал: ягод свежих отведать,
Иль просто слепца он хотел обмануть...
– Старик, – он сказал, – я пойду отдохнуть,
А ты, если хочешь, начни проповедать.
С вершин увидали тебя пастухи,
Какие-то старцы стоят у дороги.
Вот жены с детьми... Говори им о Боге,

О Сыне, Распятом за наши грехи.
И старца лицо просияло мгновенно,
Как ключ, пробивающий каменный слой,
Из уст его бледных живою волной
Высокая речь потекла вдохновенно.
Без веры таких не бывает речей,
Казалось, слепцу в славе небо являлось.
Дрожащая к небу рука поднималась,
И слезы текли из потухших очей.
Но вот уж померкла заря золотая,
И месяца луч бледный в горы проник.
В ущелье повеяла сырость ночная;
И вот, проповедавая, слышит старик.
Зовет его мальчик, смеясь и толкая:
– Довольно, пойдем, никого уже нет!
Замолк грустно старец, главой поникая.
И только замолк, как от края до края
– Аминь! – ему грянули камни в ответ.

– Мама, камни его пожалели? – спросила Соня. – Мне этого старичка жалко. А мальчик плохой, зачем он его обманул?

– Да, видишь, как получается, мальчик даже и не подумал, что выйдет. Он только хотел поесть ягод, а старик ему поверил, а потом огорчился: он думал, что люди здесь правда были и ушли, не захотели его слушать. Вот как плохо обманывать! Соня спрянула личико в шаль мамы.

– Расскажи лучше про дядюшку Якова, – дипломатично попросила она.

Едва ли кто из читателей Некрасова полагает, что «Дядюшка Яков» наводит на печальные мысли, но с Соней было не так. Во-первых, она немного жалела Кузю, которому так хотелось и жаль было съесть пряничного коня, а во-вторых, грустно было слушать о сиротке Феклуше. С приближением момента, когда Феклуша грустно смотрела на жующих лакомства детей, Соня потихоньку спускалась под стол, место, где так хорошо уединяться со своими горестями. Слезины на глазах Феклуши при виде книжек тоже побуждали ее сползать со стула, но она сдерживалась, жадно ожидая благополучного окончания.

Дело дошло и до Ермилы Гирина, когда в зале, где работал отец Сергей, послышался приятный голосок Анюты:

– Батюшка, к тебе какие-то пришли. Не нашенские.

– А кто все-таки?

– Мужики какие-то. Откуда, не сказываются, а видать, кулугуры¹².

– Ну, зови.

Вошли три человека, уже немолодые, в которых действительно сразу же можно было узнать старообрядцев, притом или очень строгих, или специально приодевшихся для посещения. Они были одеты так, как большинство одевается только собираясь в моленную¹³: синие суконные поддевки со множеством мелких сборок на талии и такие же шаровары, заправленные в сапоги. Подстриженные в кружок волосы и окладистые бороды были тщательно приглажены. Они быстро оглядели комнату, задержав взгляд на иконах, но не перекрестились, как православные, и не подошли под благословение, а чинно и степенно поклонились в пояс.

¹² Старообрядцы. – *Авт.*

¹³ Моленная – у старообрядцев: помещение без алтаря для молитвы и совершения богослужения.

– Доброго здоровья, Сергей Евгениевич! – сказал один из них, намеренно не называя отца Сергия батюшкой.

– Здравствуйте. Садитесь.

С той же подчеркнутой степенностью гости взяли стулья и уселись поближе к столу. На обычный вопрос: «Что скажете?» – не заговорили о деле, а начали беседу об осеннем урожае, о том, когда встала Волга, какая в поле дорога. Попутно выяснилось, что гости приехали из Федоровки, большого села на правом берегу Волги, прямо против Острой Луки. Отец Сергей с любопытством следил за посетителями: дело должно было быть серьезным и щекотливым, если начиналось с таких длинных предварительных переговоров, но деревенский этикет запрещал торопить гостя.

– А небогато вы живете, Сергей Евгениевич, – как будто мельком ввернул один из посетителей. – Хватает, – коротко ответил отец Сергей.

– Как хватает! Хватать-то может по-разному, – поддержал товарища второй.

– И с хлеба на квас люди перебиваются – хватает, а другие имеют все, что душе угодно. Мы своего духовного отца не так содержим. Тут тебе и балычок первосортный, и черная икорка, и диван бархатный, и ковры. Матушка бесперечь в шелковых сарафанах ходит. – Это какой же ваш духовный отец?

– Да вот отец Симиен был у нас в Хвалыне... По проезжающему священству мы¹⁴.

– Недавно преставился. Разговор опять перешел на пустяки. – Мы о вас, Сергей Евгениевич, давно наслышаны, – снова начал тот, который заметно верховодил в разговоре. – Много хорошего о вас слышали.

– Что же хорошего видят старообрядцы в православном священнике?

– Как что? Службу правите не торопясь, по Уставу. Не пьете, табаком не занимаетесь. Кормчую книгу дониконовскую и другие старые книги хорошо знаете. Отец Сергей с недоумением взглянул на гостя. Что, собственно, им нужно? Не имея сейчас «духовного отца», приехали посоветоваться о допустимости какого-нибудь брака, как иногда делали соседние беспоповцы? Могли бы найти советчика поближе. Хотят предложить беседу с новым начетчиком? Зачем же так долго ходить вокруг да около?

– Собрались мы, как отец Симиен преставился, – как будто без связи продолжал гость, – и поручили нам старики поездить, поискать нового духовного отца. Вот мы и приехали...

– Что-о?!

– Предложить вам...

Отец Сергей резко повернулся на стуле. Его лицо залила густая, темная краска.

– Что же вы думаете, я за ваши диваны да балычки Христа продам?

– Напрасно вы такие слова говорите, Сергей Евгениевич. Христос – Он и у нас Христос. А насчет крестного знамения и насчет просфор вы сами сколько раз на беседах говорили, что можно и по-нашему молиться.

– Об этом говорил, конечно. Но и о том говорил, что вне Церкви нет спасения и что Церковь не может быть без правильно поставленного епископа. Что вы, гоняясь за мелочами, нарушили самое главное, единство церковное, отказались от послушания Церкви, забыв, что послушание паче поста и молитвы.

Теперь вступились все трое; завязался один из тех споров, которые так часто приходилось вести отцу Сергию. Только теперь острие спора было направлено на вопрос, может ли священник, не теряя благодати священства и чистоты совести, перейти в беглопоповство. А время от

¹⁴ Беглопоповцы, или, как они себя называют, «по проезжающему священству», не имея собственных архиереев, за большие деньги сманивали с приходов православных священников и прекрасно обеспечивали их, так как среди державшихся этого толка в Хвалынске, как и в других местах, были богатые купцы. Такой священник, разумеется, оставлял приход тайно – «бежал» и большую часть времени разъезжал по своим новым прихожанам, так как решающихся продать свою совесть всегда было немного, и «приходы» их занимали большие территории. Отсюда и происходят оба названия. – *Авт.*

времени то один, то другой из спорщиков вставлял в богословский спор маленькое, коварное замечание о материальных благах, которыми пользуются их «духовные отцы». Если бы не это, отец Сергей, может быть, по обыкновению, увлекся бы и беседа затянулась бы надолго. Но сейчас было противно даже спорить.

– Вот что! – сказал он после одного из таких намеков. – Я, может быть, и пошел бы к вам, если бы с ума сошел или спился, но не иначе.

– Избави Бог, – сказал старообрядец и перекрестился. – Нам тоже таких не надо. Вот Андрей Петрович Букашкин из Теликовки, из благословленной¹⁵ церкви, вроде по обряду и ближе к нам, а мы к нему не поехали: водочкой балуется.

– А трезвые да честные к вам не пойдут!

Обе последние фразы отца Сергея были сказаны так, что всем стало ясно: разговор окончен. Посетители поднялись и стали прощаться.

– Простите, Христа ради! – сказал вожак.

Это была обычная по всей губернии, а пожалуй, чуть ли не во всей сельской России формула прощания, но отец Сергей ответил на нее по существу.

– Прощать ради Христа можно личные обиды, – сказал он, – а тем, кто ходит и соблазняет людей на отступничество, не простится ни в сем веке, ни в будущем!

Несколько времени спустя по округу распространилась поразившая всех новость: Букашкин¹⁶ ушел в беглые.

Один из его прежних прихожан побывал даже у него на новом месте. «Матушка-то в будни в шелковом сарафане вышла, – рассказывал он. – Чудно на нее глядеть, в сарафане-то».

Шелковые сарафаны сыграли-таки свою роль.

Глава 9 У двора

Вечером, когда солнце спускалось ниже колокольни и жара спадала, матушка выходила «ко двору» – посидеть на скамейке около палисадника. Скамейка была большая – целая широкая половая доска, положенная на такие же массивные, чуть не аршин в диаметре, обрубки дерева, но, случалось, и ее не хватало, опоздавшим приходилось размещаться на травке. Покончив домашние работы, подходили соседки, кто с вязаньем, кто с семечками, степенно выплывала кухарка, сбегались дети. Год за годом повторялись эти вечерние сборища. Сидела здесь Евгения Викторовна и в 1906 году, еще совсем юной матерью, вместе со свекром Евгением Егоровичем, любуясь первыми шагами Сони. Сидела и в 1918 году, тревожно наблюдая, как золотистый закат превращается в багровое зарево пожара – горит подожженное снарядами соседнее село Теликовка. В багровое пятно зарева врезаются острые языки пламени, поднимаются клубы дыма, и всем сидящим кажется, что они слышат треск падающих домов и крик людей.

До восемнадцатого года вечера, большею частью, были спокойны. Шли годы, взрослела молодежь, подрастали дети, менялись соседи, сослуживцы отца Сергея, а матушка все выходила по вечерам на скамеечку и разговаривала с соседками, не замечая, что и темы их разговоров тоже меняются, взрослеют.

¹⁵ Благословленная – единоверческая. – *Авт.*

¹⁶ Интересно, что единственный продавший свою совесть священник носил фамилию, которая может показаться нарочито выдуманной для отрицательного персонажа, – Вшивцев. Я было заменила ее, но и менять нельзя: другие-то все – под своими именами. – *Авт.*

В первые годы, когда приезжала из города молодежь, сидели недолго; на поросшей зеленой муравкой площади начинались игры: горелки, кошки-мышки, больше всего любили «макара».

Потом молодежь стала появляться реже: те на практике, те на кондиции, того тянет к невесте, те вышли замуж. И Евгению Викторовну уже не тянуло вмешаться в игру. Она с удовольствием сидела и наблюдала, как играют завладевшие площадью дети. Их собиралось вечером человек до двадцати, а то и больше. Как и раньше, отец Сергей выносил длинную веревку, часть играющих стояла, только поддерживая ее, а не держась за руки, в таком громадном кругу интереснее было бегать. Евгения Викторовна и ее собеседницы подходили посмотреть, когда в круг выходила самая интересная пара: четырехлетний Миша и его младшая подружка Катька Морозова. Им завязывали глаза, и они, почему-то пригнувшись, ходили по кругу. «Макар, Макар, где ты?» – особенно тоненьким голоском спрашивал Миша и, растопырив руки, торопился, часто совсем не в ту сторону, куда нужно. «Вот я!» – еще тоньше откликнулась Катька, клубочком мелькая по кругу, пока не натыкалась на преследователя. Их приветствовали смехом и поощрительными возгласами.

Потом и дети вступили в такой возраст, когда хотелось бегать по всей площади, и не только по площади, но и между прилегающими рядами амбаров и на кладбище, где у многих из них появились родные могилки. Но в любом возрасте было приятно подсесть к взрослым, послушать их разговор, поддаться влиянию тихого вечера. В любом возрасте и в любой год, так же, как и тогда, когда Мише было всего полтора года и он, свернувшись клубочком, дремал на коленях у матери, а Костя и Соня, которой кончался шестой год, сидели и наблюдали.

Возвращаются с поля и из дальних садов запоздалые труженики, обмениваются приветствиями с сидящими. Солнце, большое и красное, опускается, распространяя кругом все удлиняющиеся и удлиняющиеся лучи и наконец скрывается где-то за Волгой, за ее высоким правым берегом. Небо переливается тончайшими оттенками красок от ярко-золотого и пунцового до нежно-розового и золотисто-бирюзового. На этом фоне резко выделяются темные заволжские горы, а на самом высоком месте горы, как раз перед глазами, чернеет ветряная мельница; она совсем крошечная, но видна так отчетливо, что иногда можно заметить, как вертятся ее крылья. По ту сторону площади зеленеет примыкающий к ограде сад бабушки Матрены, а в ограде белеет церковь. Впрочем, она теперь не белая, а розовая и золотая, а стекла в окнах сверкают так, что больно смотреть. Около колокольни тихо реют голуби и снуют галки. Раздается чистый, звучный удар колокола; галки с возмущенными криками целой стаей срываются с крыши и кружат около колокольни.

Пригоняют стадо. Хозяйки уходят доить коров, потом снова возвращаются. Закат постепенно бледнеет, и на светло-янтарном небе загорается яркая вечерняя звезда, за ней другие. Иногда откуда-то выплывает темная туча, в ко торой время от времени вспыхивают молнии, то яркие и острые, от которых туча становится точно еще темнее, то скрытые, будто за рампой театра, – от таких туча вся мягко освещается. Глухо погромыхивает гром, и от этого делается словно еще уютнее.

Но что бы ни делалось на небе, земля занята своим. Сильнее начинают благоухать цветы. В саду робко пробует силы соловей, ему ответил другой, в яблонях около кладбища, потом третий... Кое-где, сначала так же робко, как соловьи, а потом все смелее и смелее запевают девушки. На озере, куда выходят огороды ограничивающей площадь улицы, квакают лягушки. Они то немного стихают, точно аккомпанируя или прислушиваясь к руладам очередной искусницы, выводящей пронзительную трель, то вдруг поднимают такой шум, что заглушают тихие голоса людей, а в это время хочется говорить только тихо.

Когда сумерки сгущаются, на стойку¹⁷, расположенную на краю площади, рядом со школой, взбирается «стойщик» и, устроившись поудобнее, выстукивает палкой по деревянным сплошным перилам. Стучит четко, красиво, ловко работая обоими концами недлинной палки, которую держит за середину. Не хуже барабанщика в оркестре из разнообразных ночных звуков. Он так и будет стучать всю ночь, чтобы люди знали, что он бодрствует, когда они спят, а спать под его стук так же приятно, как под шум дождя или вот под неугомонное кваканье лягушек...

Компания постепенно редет. Женщины расходятся по домам и уводят детей.

– Пора ужинать, – говорит наконец и Евгения Викторовна.

Глава 10

Кузьма

1911 г.

Во время ужина пришел гость – Кузьма Ливочкин.

Кузьма был еще довольно молодой чернобородый мужик. Пожалуй, его можно было бы назвать красивым, если бы не неприятно бегающие глаза и судорожно подергивающиеся пальцы. Кузьма страдал эпилепсией. Он не был так близок к отцу Сергию, как Николай Собашников, Никита Амелин или Сергей Прохоров, но пел на клиросе и заходил к батюшке домой достаточно часто для того, чтобы его позднее посещение никого не удивило.

– А, Кузьма! Присаживайся к столу, будем ужинать, – приветствовал гостя отец Сергей.

Магушка подвинула ближе к себе высокий стульчик, на котором сидел Костя, старательно вылавливавший пальцами клецки из блюдечка с супом. Соня тоже подвинулась ближе к брату (маленький Миша уже спал), и между ней и отцом образовалось свободное место. Кузьма отрицательно покачал головой.

– Нет, спаси Христос, не хочу, сейчас поужинал. – Кузьма сел в углу стола так, чтобы быть недалеко от отца Сергия и в то же время вроде и не за столом.

– А я к тебе, батюшка, пришел от Писания поговорить. Спросить кой о чем нужно.

– Ну, говори, что за затруднения?

Кузьма задал несколько незначительных вопросов. Вошла кухарка Агаша, принесла жареную картошку и взяла миску с супом. Кузьма немного помолчал, потом заговорил снова.

– Вот тут еще насчет моего имени удивительное дело. Где пишут «Кузьма», а где «Косьма», а где «Косьмы».

– Ничего удивительного нет, – сказал отец Сергей, накладывая в тарелку пропитанную сметаной картошку. – Кузьма – это по-русски, Косьма – по-славянски, а Косьмы...

Кузьма вдруг поднялся, с треском отодвинул стул. Его глаза сделались сумасшедшими, бледные щеки подергивались.

– Как нет ничего удивительного! – закричал он. – Я тебе покажу, как нет удивительного!

– Успокойся, Кузьма! – Отец Сергей тоже начал было подниматься, но Кузьма с криком «Я тебе покажу» бросился к нему и снова повалил на стул, стараясь схватить за горло. Длинные волосы священника помешали ему, Кузьма с бешенством отдернул их. В это время отец Сергей схватил его снизу за руки.

Отцу Сергию было двадцать восемь лет. Он был хотя слабее Кузьмы, однако достаточно силен, чтобы сопротивляться. Но Кузьма застал его врасплох и прижал в тесный угол между

¹⁷ Пожарную каланчу. – *Авт.*

двумя стенами и столом в самой неудобной позе. Все-таки он боролся, не допуская руки противника до своей шеи. «Только бы не догадался схватить со стола нож или вилку», – думал он.

При первом угрожающем движении Кузьмы матушка вскочила с места. «Соня, беги!» – крикнула она и сама, схватив Костю, выбежала так стремительно, что детский стульчик потащился за ней и отлетел только на середине залы. Вихрем ворвавшись в кухню, матушка крикнула:

– Кузьма душит батюшку. Агаша, беги за народом. Варя, Надя, займитесь с детьми. Запритесь на крючок!

Прекрасный день сменился такой же прекрасной ночью. Тонкий серп месяца, спустившийся ниже колокольни, почти к самому горизонту, освещал все слабым, бледным светом, не поглощающим мерцание звезд. От обильно смоченной росой травы на площади пахло свежестью; легкий ветерок доносил с лугов аромат цветов и чуть заметный запах сырости. В садах по-прежнему робко щелкали несмелые соловьи, зато еще громче и самозабвеннее, чем раньше, словно стараясь перекричать од на другую, квакали лягушки, а вдали редко и размеренно ухала выпь. В разных концах села девические голоса выводили песни; издали пение казалось стройным и красивым, под стать лунной весенней ночи. Четкая, искусная дробь стойщика вплеталась в ночные звуки и казалась такой же необходимой в этой мирной обстановке, как кваканье лягушек и песни девушек.

И вдруг тишину нарушил дикий крик. Через полминуты другой, на этот раз женский, голос пронзительно и испуганно закричал: «Караул!» Это, распахнув окно из залы на улицу, с неизвестно откуда взявшейся силой кричала тихая, никогда не возвышающая голоса матушка.

Первым прибежал ближайший сосед, диакон. Схватив на всякий случай железный шкворень, которым запирались ворота, он вбежал во двор, чуть не налетев на только что выскочившую Агашу.

– Что там такое? – глухим, хриловатым баском спросил он. На улице слышались встревоженные мужские голоса. Раздались шаги на крыльце. Еще раз хлопнула калитка. Кузьма неожиданно оставил отца Сергия и глубоко вздохнул.

– Батюшка, я хотел попросить тебя, сыграй мне «Херувимскую», – сказал он.

Когда подоспевший на помощь народ вбежал в дом, растрепанный, запыхавшийся отец Сергий сидел за фисгармонией и играл «Херувимскую», а такой же запыхавшийся Кузьма стоял у двери в столовую и казался совершенно спокойным. Только пальцы его подергивались сильнее, чем обычно.

* * *

Около семи лет Кузьма Бешеный служил постоянной угрозой для отца Сергия и причиной постоянных тревог Евгении Викторовны. В первые годы отец Сергий пытался было добиться помещения Кузьмы в сумасшедший дом. Он посылал подтвержденные показаниями свидетелей ходатайства, хранил даже, в качестве вещественного доказательства, большой комок волос, вырванных у него во время борьбы, но безуспешно. Припадки буйства, следовавшие непосредственно за эпилептическими припадками, быстро проходили, и, когда родственники довозили Кузьму до Самары, он был уже вполне нормальным, и в психбольницу его не принимали. Благодаря кратковременности этих приступов, некоторые подозревали Кузьму в притворстве, но те, кто хоть раз видел его в это время и кто пробовал бороться с ним, – не сомневались, что тут не симуляция, а действительные кратковременные припадки сумасшествия с определенной манией – убить батюшку. Приходя в себя, Кузьма и сам страдал от этого и не раз, встретив отца Сергия на улице, просил у него прощения. Никто не мешал в таких случаях их разговору, никто не слышал, о чем они говорят, остановившись среди дороги, но на улице сразу же появлялись кучки мужиков. Они рассаживались на лавочках и бревнах около

ближайших домов, останавливались, разговаривая между собой, и рассеивались только тогда, когда Кузьма и отец Сергей благополучно расходились. Нельзя было предусмотреть времени наступления припадков; иногда между ними проходил довольно значительный промежуток, иногда они следовали один за другим. Поэтому дом отца Сергия все время находился как бы на осадном положении. С детьми нельзя было всегда запира́ть двери, но калитка постоянно запира́лась, и от нее – небывалое дело в селе – через двор к сеним тянулась проволока звонка. Детей и их приятелей, целыми днями сновавших взад-вперед, это не затрудняло: они ныряли то в высокую подворотню, то в специально для них сделанную щель между досками сарая. (Сарай выходил стеной на задний двор, и щель не бросалась в глаза лишним людям. Да и ширина ее была вполне достаточна для подростка, но слишком узка для взрослого.)

Подрости немного, Соня и Миша стали пренебрегать этими, слишком примитивными средствами сообщения и предпочитали перебираться прямо через крышу сарая: сначала на стоящий у сарая рыдван, плетюшку, кучу хвороста или несколько косо приставленных жердей, оттуда на крышу, а с крыши на высокий плетень заднего двора. Прежний выход, через щель и приоткрытые плетеные ворота на огород, оставался в распоряжении Кости, слабые руки которого лет до десяти или одиннадцати не позволяли ему взбираться на крышу. Да и после это было ему нелегко.

Случалось, спокойный период затягивался. Тогда бдительность не только детей, но и взрослых ослабевала и калитка иногда стояла отворенной. Поэтому лишь только у Кузьмы начинался эпилептический припадок, его жена, тоже жившая в постоянной тревоге и за других, и за себя, оповещала соседей, и кто-нибудь бежал предупредить «батюшкиных». По пути предупреждали всех встречных, кое-кому стучали под окно, и, лишь только Кузьма выходил из дому и направлялся к площади, его перенимали, уговаривали или связывали, смотря по его состоянию. Случалось даже, если он чересчур буйствовал, запирали в жегулевку – маленький бревенчатый сарайчик около пожарки, предназначенный для случайных нарушителей общественного спокойствия.

Однажды, когда припадок бешенства был особенно силен, Кузьма ухитрился сбежать из жегулевки. Он подкопался под стенку и с ножом в руках забрался в подворотню на двор батюшки. Находившиеся в доме пережили неприятные минуты, когда их отделяло от вооруженного сумасшедшего только оконное стекло. Неизвестно, почему Кузьма не разбил его, может быть, потому, что на колокольне уже били всполох и к запертым воротам сбежалась целая толпа. Нападающий сам оказался в положении осажденного, но взять его было нельзя; не лезть же на его глазах в подворотню. После долгих попыток уговорить его сдаться добром, в то время, когда толпа, отвлекая его внимание, продолжала переговоры, двое здоровых парней перелезли через сарай в недоступном его взгляду уголке за кухней и, неожиданно набросившись сзади, вырвали у него нож. После того толпа хлынула в отпертые ворота, и продолжавший отчаянно сопротивляться Кузьма был смят и связан.

Приступы буйства продолжались до весны 1918 года, когда Кузьма, по обещанию, сходил пешком за сто двадцать верст к явленной Родниковской иконе Божией Матери. По возвращении его эпилептические припадки не прекратились, но после них он делался слабым, разбитым, даже глуповатым и совершенно перестал быть опасным для окружающих. Еще через несколько лет он опять начал после припадков ходить по людям, чаще всего к своему прежнему товарищу – певчому, Никите Ивановичу Амелину, но к этому времени прозвище «Бешеный» и вызвавшие его поступки почти забылись. На Кузьму смотрели уж как на смешного и надоедливого болтуна, у которого «не все дома».

Глава 11

Ураган

1910 г. Пасха 18/IV или 1913 г. Пасха 14/IV

В деревенской хронологии, отмечающей время не годами, а событиями, 1913 год запомнился по пронесшемуся весной урагану. Ветер, все усиливаясь, дул в течение нескольких дней и на второй или третий день Пасхи достиг наибольшей силы. Никогда во время сильных бур нов так бешено не стучали и не скрипели ставни, не гнулись и не шатались деревья, только недавно покрывшиеся молодой листвой. Сколько было оторвано веток, сколько поломано деревьев и в лесу, и в садах! Шум ветра будил даже детей, а взрослые то беспокойно дремали, то опять поднимались, заглядывая в темные окна и прислушиваясь к тому, что творилось снаружи.

Ураган разметывал стога прошлогодней соломы на гумнах, срывал крыши с домов, далеко унося оторванные доски; на окраине села подняло со столбов вновь выстроенную избу, под которую не успели подвести фундамент, и целиком поставило ее рядом на землю.

Начиналось половодье. Волжская вода, заполнившая русло маленькой речки Чагры и разлившаяся по лугам, клочкотала и пенилась. Волны далеко захлестывали покрытую молодой травой равнину и с шумом и ревом обрушивались на преграждавшую им путь острую косу, давшую название селу «Острая Лука». В более широкой, южной части косы еще продолжалась одна из улиц, вернее, начиналась, так как село основывалось именно здесь, на косе. Ближе к северу от улицы оставался только один «порядок», перерезанная дорогой лужайка перед окнами и крутой обрыв до самой воды. Еще севернее домов уже не было. Там, на клочке земли, соединенном с селом узким перешейком, в разгаре половодья скрывавшимся под водой, сохранились только гумна да остатки двух-трех садов. Каждую весну вода подтачивала косу, подмывая ее берега и с особенной силой обрушиваясь на маленький островок, но ни один год она не принимала столько разрушений, как в этот раз, объединившись с ураганом.

Но было одно место, где стихии бушевали еще яростней. Это там, около деревни Дураковки, ближние дома которой виднелись по ту сторону Чагры примерно в версте от косы, а дальние отделялись от соседнего села Березовая Лука только Чагрой да узкой полоской берега. Да и то этот поросший репьями низменный берег был только со стороны Березовой Луки. Со стороны Дураковки окаймленная тальником Чагра проходила прямо под крутым берегом, на котором стояли дома. Летом в этом месте в Чагре было воробью по колено, дети переходили ее вброд, зато в разгар половодья едва виднелись верхушки высоких осокорей, группами, по три-пять штук, разбросанных по низине, а от крутых яров, обрывавших улицы обоих сел, оставалась только узкая кромка, да и то не всегда.

Сейчас осокори были залиты примерно до половины, незалитая часть берега тоже была еще довольно высока, и в получившейся трубе ураган свирепствовал больше, чем где-нибудь.

Невесело встречали Пасху жители Березовой Луки и Дураковки, привыкшие держаться заодно, как два конца одного села. Они перероднились между собой и по праздникам веселились все вместе, переходя от одних родственников к другим. Ураган разбил дружные компании, веселье не ладилось, не хватало оставшихся на другом берегу.

Именно эта привычка проводить пасхальные дни вместе с близкими явилась причиной того, что во второй половине дня семнадцатого апреля, когда ураган на короткое время ослабел, от крутого западного берега, от Дураковки, отвалила лодка. Среди ее пассажиров была даже одна молодая женщина, родители которой жили в Березовой Луке. Конечно, у всех этих смельчаков уже порядочно шумело в голове, чем и подогревалось их удальство. Более трезвые,

в том числе муж молодой женщины, пытались отговорить их от безрассудной попытки, но в ответ раздались только насмешки. «Мужики, а хуже бабы», – донеслось с отплывавшей лодки.

Вероятно, хмель вылетел из многих голов, едва они отъехали от берега с десятков метров, вероятно, отплывшим сразу же захотелось вернуться, но это было уже невозможно: повернуть лодку, поставив ее боком к волнам, значило наверняка погубить себя. Слабая, почти незаметная надежда оставалась только в том случае, если им удастся двигаться к противоположному берегу, держа лодку поперек волн, обгоняя их и не давая захлестнуть лодку сзади. И, нужно отдать справедливость, они боролись мужественно и упорно; одни напряженно гребли, работая по двое каждым веслом, другие подгребали досками, заменявшими сиденья, и тяжелая рыбацкая лодка шла почти так, как требовалось. Может быть, людям и удалось бы спастись, если бы среди воды не встретилась группа деревьев. Около таких преград волны бушевали особенно сильно, создавая водовороты. Свернуть было невозможно. Лодку несло прямо на деревья, ударило, прижало боком к стволам, опрокинуло. Люди окунулись в воду, потом ухватились за толстые, раскачивающиеся ветви, взобрались на них. Стоящим на берегу было видно: выбрались все.

Погибавшие судорожно цеплялись за ветки, волны то и дело окатывали их, ветер пронизывал, леденил. Несомненно, они кричали, прося о помощи, но за шумом ветра и воды их не было слышно. Кто-то попробовал было помахать рукой, но чуть не сорвался и опять ухватился за ветки. На берегах и так понимали, что нужна помощь, но оказать ее не могли. Если невозможно было просто переехать через бушующую реку, то в десять раз труднее, в десять раз невозможнее подплыть к определенной цели, да еще такой опасной, как деревья, взять людей и вернуться обратно. Об этом нечего было даже и думать.

Толпа на обоих берегах все увеличивалась. О катастрофе знали уже оба села.

Вдруг дружный крик вырвался у стоявших. Женщины запричитали, многие из мужчин сняли шапки и перекрестились: один из погибавших упал с дерева и пошел на дно. Должно быть, ооченели руки, и он не мог дальше держаться. Народ до полной темноты стоял на берегу, с ужасом наблюдая, как срывался то один, то другой.

Утром на ветках, почти залитых прибывшей за ночь водой, оставалось только двое или трое. Потом и они свалились. Дольше всех держалась женщина. Наконец и она, обессилев, упала головой в воду, но труп ее оставался все на том же месте, не тонул и не отплывал. Когда ураган пролетел и люди, выехавшие искать утонувших, подплыли к осокору, оказалось, что она привязалась к дереву большой переливчатой шелковой шалью, бывшей у нее на голове. Мало того, в минуту грозной опасности она не забыла о стыдливости. Трудно представить, каких усилий стоило ей развязать тонкий, скрученный из разноцветной шерсти пояс, поддерживающий юбки. Все-таки она его развязала и притянула им юбки снизу, чтобы ветер не отдувал их.

Ураган не остановил в Острой Луке обычного праздничного хождения по домам «с Пасхой», хотя все: и духовенство, и мальчики-певчие – доходили при этом до изнеможения. Отец Сергей под конец совершенно охрип и после еще с неделю высидел дома, у него оказалась жесточайшая ангина. Ангиной он болел ежегодно, иногда несколько раз в год, и ни он сам, ни Евгения Викторовна не обращали на это серьезного внимания. Он переносил болезнь на ногах и чувствовал бы себя здоровым, если бы не опухоль в горле, мешавшая глотать и говорить. Больному приходилось сначала отказаться от твердой пищи, потом он не мог проглотить даже ложечки воды и объяснялся знаками. Самочувствие при этом оставалось нормальным, и отец Сергей использовал свободное время, данное ему невозможностью служить и общаться с народом, для работы за письменным столом, подготавливая очередные статьи в «Епархиальные Ведомости».

Утомившись, он подсаживался на пол к детям, и начинались игры. Детям они казались особенно интересными, потому что рядом с папой лежала аспидная доска, и он не говорил, а писал.

Нарыв прорывался иногда ночью. Отец Сергей прополаскивал горло подогретой на спиртовке водой и говорил проснувшейся жене: «Теперь давай есть!» И никому, даже опытному соседнему фельдшеру, хорошо знавшему отца Сергия, не приходило в голову, что ангина может иметь более серьезные последствия, чем временная потеря голоса и вынужденное голодание в течение нескольких дней.

Глава 12 Молебствие о дожде

1911–1912 гг.

Стояла засушливая весна. Проснувшись утром, каждый взрослый житель села, прежде всего, выходил и смотрел на небо, нет ли туч. Но туч не было, солнце жгло как в июле, всходы в полях и на огородах поблекли, ох и надо бы дождя!

В один из этих знойных дней к отцу Сергию, возившемуся в сарае с ремонтом ульев, пришли сразу несколько посетителей – церковный староста с тремя попечителями. Они поздоровались, уселись кто на поваленном улье, кто на опрокинутой пудовке для зерна или чурбане для рубки дров (зачем в комнату идти, здесь вольготнее) и, поговорив, сколько требовало приличия, о посторонних предметах, приступили к делу.

– Батюшка, мы до вашей милости, – начал староста. – Мы вот со стариками толковали. Дождя бы надо, вон какая жара, хлеба вертеть начало. Вроде пора бы поднять знамена.

– Дело доброе, – согласился отец Сергий. – Когда думаете?

– Да вот, сегодня пятница... В воскресенье после обедни объявил бы ты народу, в понедельник пусть соберутся с необходимыми делами, а во вторник можно бы и идти.

– Во вторник так во вторник.

На том и порешили.

Обыкновенно молебствовать начинают с кладбища. Остановившись на зеленой лужайке посреди его, служат коротенькую литию – точно призывая умерших присоединиться к молитвам живых, – и первый молебен о дожде. Потом выходят из села на запад и обходят поля на юго-западной стороне за озером Язев. На второй день обходят восток и юго-восток. На запад, до Волги, расстилаются заливные луга, кустарники и мелколесье, туда ходить нечего, а на севере, почти к самому селу подходят земли Березовой Луки. Старики не забывают, почему так вышло. Во всем виноват горлопан Молек, его потомок Никон Молько до сих пор живет в селе и вместе со своими взрослыми сыновьями много лет почти бессменно работает стойщиком (пожарником). Люди нет-нет да и вспомнят: от их дедушки все получилось.

«Получилось» это в начале шестидесятых годов прошлого века, после земельной реформы. «Чагра», то есть Острая и Березовая Лука, Дубовое и Теликовка, никогда не были барскими, хотя их и окружали помещичьи земли. В соседних приволжских садах даже после революции еще стояли усадьбы помещиков Протопопова, Пустошкина, Соплякова, Скорпачева, Баумгартена, Самарина, Медема. Однако передел земли коснулся всех. Приехал землемер и начал расхаживать по полям, замерять, составлять планы. Остролукцы тогда неплохо сообразили, пообещали ему кругленькую сумму, если он хорошо наделит их землей, он и постарался, и луга, и лес, и пашни, все лучшие земли во все стороны от села достались им. Уж и документы на руки получили, пришло время расплачиваться, а тут этот Молек и зашумел

на сходке – нечего, дескать, землемеру деньги зря отдавать, и так все сделано по-хорошему, лучше пропить. Ну, у него, конечно, дружки нашлись, всех перекричали, пропили денежки. Приехал землемер, а ему на сходке нос показали. Он, говорят, даже заплакал, перед всем народом порвал на себе в клочья рубашку и пообещал: «Так и с вашей землей будет». Поехал в Самару и заявил, что в Березоволукской волости ошибка вышла, нужно заново переделить. Ну и переделил! Нарезал кусков где-то в Топориках да в других дальних углах, за пятнадцать – двадцать верст, под самой Брыковкой да Теликовкой; да неудобие – большой овраг Штану в счет положил. А заливные луга, какие только можно было отрезать, чуть не под самые окна села, все к Березовой отошли. До сих пор поперек этих лугов канава проходит, пополам их делит, как в первый раз было намечено, а сами луга – чужие. И по склону увала, что их окружает, березовские сады к самой островской лесопилке подходят.

А на северо-восточный угол полей, туда, где сначала все было островское, а теперь клиньями сошлись и островские, и березовские, и дубовские земли, только во время самой сильной засухи сходятся крестные ходы из всех трех сел, и здесь служит общий молебен.

Стоит расшевелить стариков, они и о другой «услуге» Молька с товарищами расскажут, как те церковь пропили. Еще на сколько-то лет раньше задумали чагринцы строить церковь, одну на несколько деревень. Острая Лука была в центре этих деревень, там и решили строить. Целую весну съезжался туда народ со всей округи, все свободное время отдавали, кирпичи делали. Старики рассказывали, сами они ребятишками в тех ямах играли, из которых глину да песок для кирпичей брали. А тут березовские собрали деньжонок да на сход. «Так и так, столько-то ведер водки поставим, только дайте согласие церковь у нас строить». Ну, Молек со своими горлопанам и рады стараться: такой крик подняли, составили мирской приговор, сами и кирпичи в Березовую перевезли. Уж лет пятьдесят спустя в Острой построили церковь, да и то огоревали деревянную.

Зато сейчас любят и чтут островцы свою церковь, стоят в ней чинно, внимательно, без разговоров, без перешептываний. Целую бурю негодования вызвала одна легкомысленная бабенка, которая, возвратившись из церкви, начала рассказывать, что баушка Матрена была там в таких-то вот новых рукавах.

– Что ты, чужие наряды пересуживать в церковь ходишь? – возмущались соседки. Во всем господствовал строгий, благоговейный порядок, и сейчас трудно было определить, что поддерживается вековым, от дедов переданным обычаем и что является следствием слаженной работы нескольких поколений священников. Только кое-что, о чем разговор велся еще недавно, а может быть, и сейчас ведется, с точностью можно называть батюшкиными трудами. Вот, например, каждую весну и осень ему приходится говорить о кашле в церкви. Особенно весной, когда кругом тает, проваливается снег на дорожках, а иногда целые улицы и вся площадь превращаются в сплошное месиво из рыхлого снега и ледяной воды. Молящиеся, особенно женщины, в это время приходят в церковь с мокрыми ногами, и, хотя более заботливые приносят под мышкой валенки и переобуваются, все-таки кашляет большинство. И батюшка не забывает напомнить, что с этим можно и нужно бороться.

– Часто люди начинают откашливаться, чуть только почувствуют легкую неловкость в горле, – обыкновенно после службы говорил он. – Откашлялись, и ладно, не думают, что этим мешают богослужению. А даже самый кашель действует на других, сейчас же и у других в горле запершит. Не успеют прокашляться эти, как начинают новые, и подчас поднимается такой шум, что заглушает не только чтение, а и пение. А стоило бы первым сдержаться, и этого беспорядка не было бы. Сдержаться же кашель можно во многих случаях. А если кто и не сможет удержаться, то все-таки он закашляется один. Правда, бывает иногда и такой кашель, что человек захлебывается и не может ни сдержать, ни остановить его. Тогда уж лучше выйти из церкви и войти опять, когда кончится приступ.

Зато уж, кроме кашля, в церкви никакого шума. Разве ребята, занимающие места у самого амвона, зашепчутся, а то исподтишка и толкнут один другого. Но и они сразу затихают, стоит кому-нибудь из стоящих на клиросе оглянуться, тем более погрозить пальцем.

Как и везде в селах, в Острой Луке мужчины и женщины стоят отдельно, хотя делятся не совсем так, как обычно, – справа мужчины, а слева женщины. В Острой Луке мужчины занимают не только правую сторону, а и передние ряды на левой; зато вся задняя часть церкви со стоящими у стены скамейками принадлежит старухам. Этот порядок соблюдается и тогда, когда за утреней прикладываются к Евангелию или к иконе праздника. Идут сначала с правого клироса, потом с левого; потом двигается первый ряд справа, за ним второй, третий... Когда проходят все мужчины справа, в таком же порядке идет левая сторона, а после всех смиренно и неторопливо подходят старушки. Во время причастия тот же порядок, только вперед пропускают женщин с маленькими детьми, а за ними – детей школьного возраста. Ни давки, ни толкотни, очередь перед аналоем небольшая, от силы человек пятнадцать – двадцать; по мере того, как они отходят на свои прежние места, к аналою подходят следующие по порядку. Лишь изредка забежит вперед какая-нибудь одинокая хозяйка, которая торопится домой, чтобы убрать скотину, истопить печь и к обедне прийти не очень поздно.

Поют в Острой Луке не торопясь, но и не растягивая намеренно, как раскольники и многие городские хоры. Пение исключительно гласовое, такое, которое принято называть простым. Называя так, забывают, что музыкально образованным певчим шикарных городских хоров только в исключительных случаях удается достичь такой молитвенной простоты, такого четкого соединения чувств и мелодии. Остролукские певчие, особенно те, которые посещали спевки на квартире отца Сергия, и теперь еще время от времени заходят к нему попрактиковаться и спросить совета. Возглавляет их псаломщик, а иногда во время вечерни или утрени, особенно в небольшие праздники, когда на клиросе не хватает голосов, и сам отец Сергий выходит из алтаря и помогает петь стихиры. И стало традицией, что он сам читает канон на Благовещение, а Великим постом, стоя перед престолом один, наизусть, поет: «Да исправится молитва моя», тем напевом, каким пели в его время в семинарии.

Одно время пригласили было регента, учителя Павла Афанасьевича. Но он страдал профессиональной болезнью регентов – страстью к вычурным нотным «номерам»; вкус его резко расходился со вкусом отца Сергия и большинства прихожан. Вдобавок многие были недовольны тем, что на клиросе появились девушки и даже замужние женщины. Регента скоро уволили, а в церкви так и укрепился мужской хор, в обычном составе. Результаты прежних спевков сказывались и сейчас, пели довольно стройно, сразу принимая тон, в котором отец Сергий делал возглас. Правда, наиболее удобный для него и для певчих тон, в котором пелось то или иное песнопение, повторялся из службы в службу, а переходы на другой тон тоже происходили в одних и тех же излюбленных местах. Зато это создавало впечатление особенной цельности, гармоничности, проникавшее все богослужение от первого возгласа священника до последней ноты хора.

Отец Сергий, всю жизнь стремившийся к тому, чтобы, не утомляя молящихся, совершать службу с наименьшими сокращениями, еще и ввиду этого не одобрял тягучего пения. Обычный темп за утреней был таков: как раз спокойно, но не медленно можно было сделать земной поклон, пока пелось: «Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу...», а в то время, пока отец Сергий катил вокруг храма (молодой и подвижный, он обходил его довольно быстро, хотя и без излишней торопливости), певчие успевали три раза пропеть величание со стихами перед каждым разом. Эти стихи все очень любили, и, нужно отдать справедливость руководителям хора, они брали не первые попавшиеся, а из всех стихов данного праздника выбирали лучшие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.